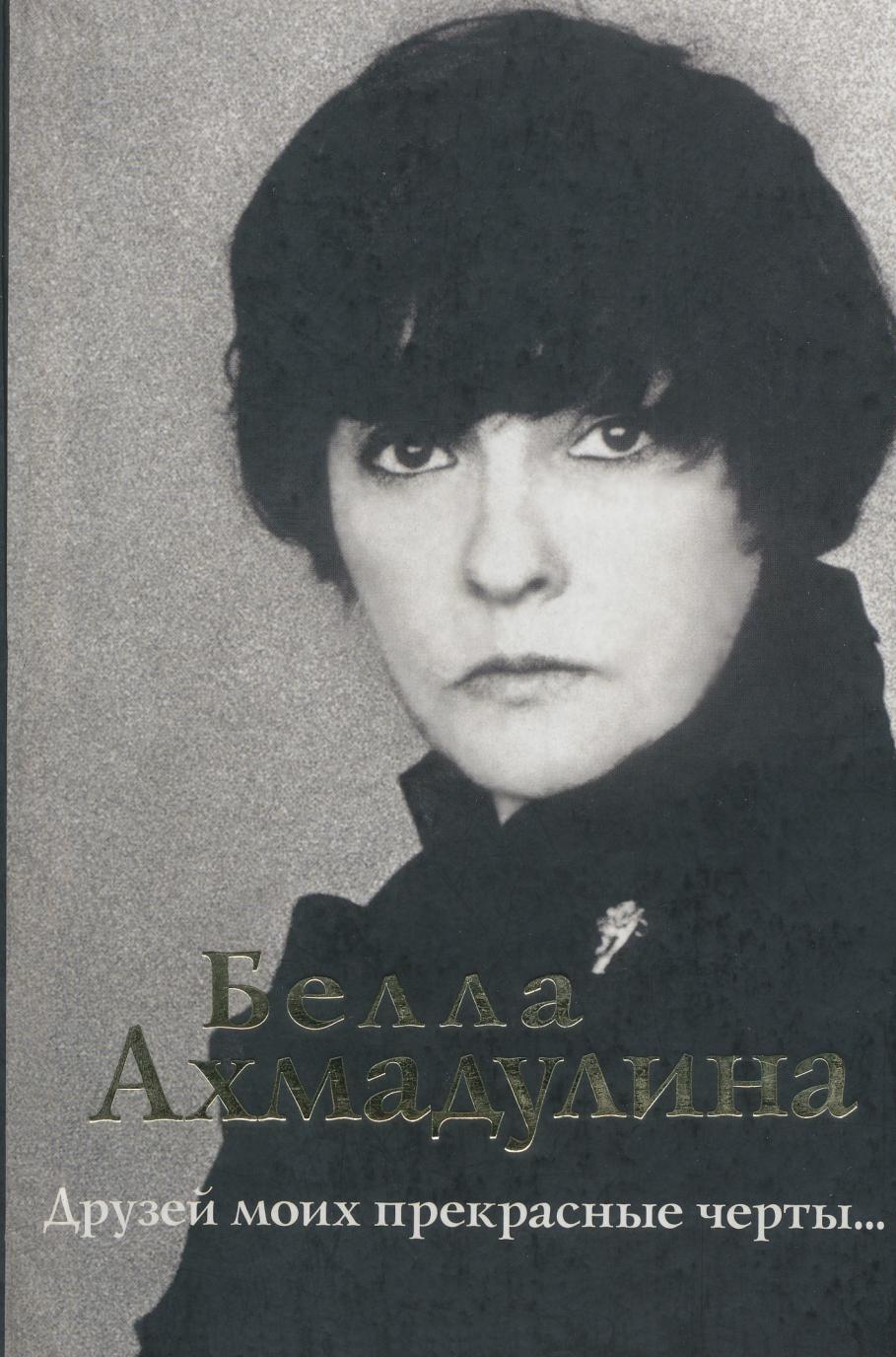


Белла Ахмадулина
Друзей моих прекрасные черты...



Белла
Ахмадулина

Друзей моих прекрасные черты...

Белла Ахмадулина

Друзей моих
прекрасные черты...



УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
А95

Ахмадулина, Б.А.

A95 Друзей моих прекрасные черты... / Белла Ахмадулина. —
М.: Астрель: Олимп, 2009. — 507, [5] с.

ISBN 978-5-271-23115-5 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-7390-2326-1 (ООО «Агентство КРПА Олимп»)

Творчество Беллы Ахмадулиной стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности.

Интерес к ее поэзии с годами не ослабевает, и уже сейчас очевидно, что она — один из крупнейших русскоязычных поэтов конца XX — начала XXI столетия.

В первую книгу трехтомника вошли стихотворения, поэмы и проза, написанные в основном в ранний период творчества. Среди них такие известные произведения, как «Прощание», больше известное по первым строчкам: «А напоследок я скажу...», «О, мой застенчивый герой...», «По улицам моей который год...», знаменитые посвящения Борису Пастернаку, Булату Окуджаве, Павлу Айтакольскому.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ПОЭЗИЯ

* * *

1954

* * *

Дождь в лицо и ключицы,
и над мачтами гром.
Ты со мной приключился,
словно шторм с кораблём.

То ли будет, другое...
Я и знать не хочу —
разобьюсь ли о горе
или в счастье влечу.

Мне и страшно, и весело,
как тому кораблю...

Не жалею, что встретила,
Не боюсь, что люблю.

1955

ЦВЕТЫ

Цветы росли в оранжерее.
Их охраняли потолки.
Их корни сытые жирели,
и были лепестки тонки.

Им подсыпали горький калий
и множество других солей,
чтоб глаз анютин жёлто-карий
смотрел круглей и веселей.

Цветы росли в оранжерее.
Им дали света и земли
не потому, что их жалели
или надолго берегли.

Их дарят празднично на память,
но мне — мне страшно их судьбы,
ведь никогда им так не пахнуть,
как это делают сады.

Им на губах не оставаться,
им не раскачивать шмеля,
им никогда не догадаться,
что значит мокрая земля.

НЕВЕСТА

Хочу я быть невестой,
красивой, завитой,
под белою навесной
застенчивой фатой.

Чтоб вздрагивали руки
в колечках ледяных,
чтобы сходились рюмки
во здравье молодых.

Чтоб каждый мне поддакивал,
пророчил сыновей,
чтобы друзья с подарками
стеснялись у дверей.

Сорочки в целлофане,
тарелки, кружева...
Чтоб в щёку целовали,
пока я не жена.

Платье моё белое
заплакано вином,
счастливая и бедная
сижу я за столом.

Страшно и заманчиво
то, что впереди.
Плачет моя мамочка, —
мама, погоди.

...Наряд мой боярский
скинут на кровать.
Мне хорошо бояться
тебя поцеловать.

Громко стулья ставятся
рядом, за стеной...
Что-то дальше станется
с тобою и со мной?..

1956

* * *

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
до сих пор колобродит во мне.

Мне доступны иные мученья.
Мой шатёр одинок, нелюдим.
Надо мною восходят мечети
полумесяцем белым, кривым.

Я смеюсь, и никто мне не пара,
но с заката вчерашнего дня
я люблю узколицего парня
и его дорогого коня.

Мы в костре угольки шуровали,
и протяжно он пел над рекой,
задевая мои шаровары
дерзновенной и сладкой рукой.

Скоро этого парня заброшу,
закричу: «До свиданья, Ахат!»
Полюблю я султана за брошку,
за таинственный камень агат.

Нет, не зря мои щёки горели,
нет, не зря загнала я коня —
сорок жён изведутся в гареме,
не заденут и пальцем меня.

И опять я лечу неотрывно
по степи, по её ширине...
Надо мною колдует надрывно
и трясёт бородой шурале...

1956

ПАВЛУ АНТОКОЛЬСКОМУ

I

Официант в поношенном крахмале
опасливо глядит издалека,
а за столом — цветут цветы в кармане
и молодость снедает старика.

Он — не старик. Он — семь чертей пригожих.
Он, палкою по воздуху стуча,
летит мимо испуганных прохожих,
едва им доставая до плеча.

Он — десять дровосеков с топорами,
дай помахать и хлебом не корми!
Гасконский, что ли, это темперамент
и эти загорания в крови?

Да что считать! Не поддаётся счёту
 тот, кто — один. На белом свете он —
 один всего лишь. Но заглянем в щёлку.
Он — девять дэвов, правда, мой Симон?

Я пью вино, и пьёт старик бедовый,
потрескивая на манер огня.
Он — не старик. Он — перезвон бидонный.
Он — мускулы под кожею коня.

Всё — чепуха. Сидит старик усталый.
Движение есть расточенье сил.
Он скорбный взгляд в далёкое уставил.
Он старости, он отдыха просил.

А жизнь — тревога за себя, за младших,
неисполненье давешних надежд.
А где же — Сын? Где этот строгий мальчик,
который вырос и шинель надел?

Вот молодые говорят степенно:
как вы бодры... вам сорока не дашь...
Молчали бы, летая по ступеням!
Легко ль... на пятый... возойти... этаж...

Но что-то — есть: настойчивей! крылатей!
То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей!
Оно гудит под пологом кровати,
закруживает, словно карусель.

Ах, этот стол запляшет косоного,
ах, всё, что есть, оставит позади.
Не иссякай, бессмертный Казанова!
Девчонку на колени посади!

Бесчинствуй и пофыркивай моторно.
 В чужом дому плачь домовым в трубе.
 Пусть женщина, капризница, мотовка,
 тебя целует и грозит тебе.

Запри её! Пускай она стучится!
 Нет, отпусти! На тройке прокати!
 Всё впереди, чему должно случиться!
 Оно еще случится. Погоди.

1956

II

Двадцать два, значит, года тому
 дню и мне восемнадцатилетней,
 или сколько мне — в этой, уму
 ныне чуждой поре, предпоследней
 перед жизнью, последним, что есть...
 Кахетинского яства нарядность,
 о, глядеть бы! Но сказано: ешь.
 Я беспечна и ем ненаглядность.
 Это всё происходит в Москве.
 Виноград — подношенье Симона.
 Я настолько моложе, чем все
 остальные, настолько свободна,
 что впервые сидим мы втроем,
 и никто не отторгнут могилой,
 и ещё я зову стариком
 Вас, ровесник мой младший и милый.

1978

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

Там в море парусы плугали,
и, непричастные жаре,
медлительно цвели платаны
и осипались в ноябре.

Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.

И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал
и выплывал, как черный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли, и мелели,
и загорались невпад.

И, заглушая олеандры,
собравши всё в одном цветке,
витало имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,
там приникал к воде причал.
«Цисана!» — из окошка звали.
«Натэла!» — голос отвечал...

1957

* * *

Смеясь, ликуя и бунтуя,
в своей безвыходной тоске,
в Махинджаури, под Батуми,
она стояла на песке.

Она была такая гордая —
вообразив себя рекой,
она входила в море голая
и море трогала рукой.

Освободясь от ситцев лишних,
так шла и шла наискосок.
Она расстегивала лифчик,
чтобы сбросить лифчик на песок.

И вид ее предплечья смутного
дразнил и душу бередил.
Там белое пошло по смуглому,
где раньше ситец проходил.

Она смеялась от радости,
в воде ладонями плеща,
и перекатывались радуги
от головы и до плеча.

* * *

Вот звук дождя как будто звук добры —
так тренькает, так ударяет в зданья.
Прохожему на площади Восстания
я говорю: — О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: — Шали. —
К его курчавой головёнке никну
и говорю: — Пусти скорее нитку,
освободи зелёные шары.

На улице, где публика галдит,
мне белая встречается собака,
и взглядом понимающим собрата
собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,
по бледности я отличаю скрягу.
Облюбовав одеколона склянку,
томится он под вывеской «Тэжэ».

Я говорю: — О, отвлекись скорей
от жадности своей и от подагры,
приобрести богатые подарки
и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везёт мне, не везёт.
Меж мальчиков и девочек пригожих
и взрослых, чем-то на меня похожих,
мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.
Теней я замечаю удлиненье,
а также замечаю удивленье
прохожих, озирающих меня.

1957

* * *

О, еще с тобой случится
всё — и молодость твоя.
Когда спросишь: «Кто стучится?» —
Я отвечу: «Это я!»

Это я! Ах, поскорее
выслушай и отвори.
Стихнули и постарели
плечи бедные твои.

Я нашла тебе собрата —
листик с веточки одной.
Как же ты стареть собрался,
не советуясь со мной!

Ах, да вовсе не за этим
я пришла сюда одна.
Это я — ты не заметил.
Это я, а не она.

Над примятою постелью,
в сумраке и тишине,
я оранжевой пастелью
рисовала на стене.

Рисовала сад с травою,
человечка с головой,
чтобы ты спросил с тревогой:
«Это кто еще такой?»

Я отвечу тебе строго:
«Это я, не спорь со мной.
Это я — смешной и стройный
человечек с головой».

Поиграем в эту шалость
и расплачемся над ней.
Позабудем мою жалость,
жалость к старости твоей.

Чтоб ты слушал и смирялся,
становился молодой,
чтобы плакал и смеялся
человечек с головой.

1957

* * *

Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю — снова не получится
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости — из горести
так прямо голову держу.

1957

СНЕГУРОЧКА

Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.

Но голубым своим подолом
вспорхнула — ноженьки видны —
и нет ее. Она подобна
глотку оттаявшей воды.

Как чисто с воздухом смешалась
и кончилась ее пора.
Играть с огнем — вот наша шалость,
вот наша древняя игра.

Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не даёт.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестаёт.

Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечём его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.

Вот наш удел еще невидим,
в дыму еще неразличим.
То ль из него живыми выйдем,
то ль навсегда сольемся с ним.

1958

МАЗУРКА ШОПЕНА

Какая участь нас постигла,
как повезло нам в этот час,
когда бегущая пластинка
одна лишь разделяла нас!

Сначала тоненько шипела,
как уж, изъятый из камней,
но очертания Шопена
приобретала всё слышней.

И забирала кручे, круче,
И обещала: быть беде,
И расходились эти круги,
Как будто круги по воде.

И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой.

Как эта, с бедными плечами,
по-польски лицом бела,
разведала мои печали
и на себя их приняла?

Она протягивала руки
и исчезала вдалеке,
сосредоточив эти звуки
в иглой исчерченном кружке.

1958

ЛУНАТИКИ

Встает луна, и мстит она за муки
надменной отдалённости своей.
Лунатики протягивают руки
и обреченно следуют за ней.

На крыльях одичалого сознанья,
весомостью дневной утомлены,
летят они, прозрачные созданья,
прислушиваясь к отсветам луны.

Мерцая так же холодно и скupo,
взамен не обещая ничего,
влечёт меня далекое искусство
и требует согласья моего.

Смогу ли побороть его мученья
и обаянье всех его примет
и вылепить из лунного свеченья
тяжёлый осозаемый предмет?..

1958

* * *

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.
Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога —
как их раздумья глубоки.

То добрый пёс. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела,
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
всё различавший в тишине,
пёс, умудренный семилетний,
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пёс. Ах, Тошка,
ты понимаешь всё. Ответь,
что мне так совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Всё тонкий нюх твой различает,
угадывает наперёд.
Скажи мне, что нас разлучает
и все ж расстаться не даёт?

1958

АВГУСТ

Так щедро август звёзды расточал.
Он так бездумно приступал к владенью,
и обращались лица ростовчан
и всех южан — навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.
Так падали мне на плечи созвездья,
как падают в заброшенном саду
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,
соседей наших клавиши сердили,
к старинному роялю музыкант
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего зозвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,
так недалеко звёзды пролегали,
бульварами шагали моряки,
и девушки в косынках пробегали.

Всё то же там паденье звёзд и зной,
всё так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
две ноты, взятые одновременно.

1958

* * *

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислоняясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тиши твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислоняясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слёз, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

1959

* * *

В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость,
и, расстилаясь над землёй,
влекла меня погоды лётность.

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор
и проницательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлёт
обходится мне всё дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скучно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегает дитя
и нарушает их порядок.

1959

НЕЖНОСТЬ

Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зелёной
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивлённый
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
— Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены. —

И антиквар какую плату
спросил? —
О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.

И слёзы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые средь тишины.

За то, что мне тебя не видно,
а видно — так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: — Мне нет покою!
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, «чур» не говори —
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохранию тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.

НЕСМЕЯНА

Так и сижу — царевна Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
— Царевна, отвори нам! Нас немало! —
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здравоются, кланяются, имя
«Царевич» говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звена.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слыву я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: — Какой верна присяге,
царевна, ты — в суровости своей? —
Я говорю: — Царевичи, присядьте.
Царевичи, постойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе —
смеялась я, как не смеяться вам.

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси».

— А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне? —
Смеялась я: — Богат он или беден,
румян иль бледен — не припомнить мне.

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И всё же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

1959

МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полёт твоих колёс,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слёз,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с лиющейся и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зелёных отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твоё светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поёт,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полёт
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдалённых.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крыльышка зелёных.

Так проносись! — покуда я стою.
Так лепечи! — покуда я немею.
Всю легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

1959

АВТОМАТ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ

Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
тайныственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,
монету влажную он опускает в щёлку,
и, нежным брызгам подставляя щёку,
стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простою!
Но нет, я этой милости не стою,
пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,
несет в ладони семь стеклянных граней,
и отблеск их летит на красный гравий
и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру
и поддаюсь с блаженным чувством риска
сблазну металлического диска,
и замираю, и стакан беру.

Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и солёный,
неведомым дыханьем населённый
и свежей толчёю пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,
пронзают нёбо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата тёмная душа
взирает с добротою старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиться из ковша.

1959

ТВОЙ ДОМ

Твой дом, не ведая беды,
меня встречал и в щёку чмокал.
Как будто рыба из воды,
сервиз выглядывал из стёкол.

И пёс выскакивал ко мне,
как галка маленький, орущий,
и в беззащитном всеоружье
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли
я шла озябшим делегатом,
и дом смотрел в глаза мои
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда
он не навлёк, себя не выдал.
Дом клялся мне, что никогда
он этой женщины не видел.

Он говорил: — Я пуст. Я пуст.
Я говорила: — Где-то, где-то...
Он говорил: — И пусть. И пусть.
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва
платка или иной приметы,
но дом твердил свои слова,
перетасовывал предметы.

Он заметал её следы.
О, как он притворился ловко,
что здесь не падало слезы,
не облокачивалось локтя.

Как будто тщательный прибой
смыл всё: и туфель отпечатки,
и тот пустующий прибор,
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пёс забыл,
с кем он играл, и гвоздик малый
не ведал, кто его забил,
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,
как будто выпал снег и стаял.
Припомнить не могли цветы,
кто их в стакан гранёный ставил...

О дом чужой! О милый дом!
Прощай! Прошу тебя о малом:
не будь так добр. Не будь так добр.
Не утешай меня обманом.

* * *

Опять в природе перемена,
окраска зелени груба,
и высится высокомерно
фигура белого гриба.

И этот сад собой являет
все небеса и все леса,
и выбор мой благословляет
лишь три любимые лица.

При свете рампы умирает
слепое тело мотылька
и пальцы золотом марает,
и этим брезгает рука.

Ах, господи, как в это лето
покой в душе моей велик.
Так радуге избыток цвета
желать иного не велит.

Так завершенная окружность
сама в себе заключена,
и лишнего штриха ненужность
ей незавидна и смешна.

* * *

Нас одурачил нынешний сентябрь
с наивностью и хитростью ребёнка.
Так повезло раскинутым сетям —
мы бьемся в них, как мелкая рыбёшка.

Нет выгоды мне видеться с тобой.
И без того сложны переплетенья.
Но ты проходишь, головой седой
оранжевые трогая растенья.

Я говорю на грани октября:
— О, будь неладен, предыдущий месяц.
Мне надобно свободы от тебя,
и торжества, и празднества, и мести.

В глазах от этой осени пестро.
И, словно на уроке рисованья,
прилежное пишу тебе письмо,
выпрашивая расставанья.

Гордилась я, и это было зря.
Опровергая прошлую надменность,
прошу тебя: не причиняй мне зла!
Я так на доброту твою надеюсь.

СЕНТЯБРЬ

Ю. Нагибину

I

Что за погода нынче на дворе?
А впрочем, нет мне до погоды дела —
и в январе живу, как в сентябре,
настойчиво и оголтело.

Сентябрь, не отводи твое крыло,
твое крыло оранжевого цвета.
Отсрочь твое последнее число
и подари мне промедление это.

Повремени и не клонись ко сну.
Охваченный желанием даренья,
как и тогда, транжирь свою казну,
побалуй все растущие деревья.

Что делалось! Как напряглась трава,
чтоб зеленеть с такою полнотою,
и дерево, как медная труба,
сияло и играло над землёю.

На палисадники, набитые битком,
всё тратилась и тратилась природа,
и георгин показывал бутон,
и замирал, и ожидал прироста.

Испуганных художников толпа
на цвет земли смотрела воровато,
толпилась, вытирала пот со лба,
кричала, что она не виновата:

она не затевала кутерьму,
и эти краски красные пролиты
не ей — и в доказательство тому
казала свои бедные палитры.

Нет, вы не виноваты. Всё равно
обречены менять окраску ветви.
Но все это, что жёлто и красно,
что зелено, — пусть здравствует вовеки.

Как пачкались, как били по глазам,
как нарушались прежние расцветки.
И в этом упоении базар
всё понижал на яблоки расценки.

Январь 1960

II

И мы увиделись. Ты вышел из дверей.
Всё кончилось. Всё начиналось снова.
До этого не начислялось дней,
как накануне Рождества Христова.

И мы увиделись. И в двери мы вошли.
И дома не было за этими дверями.
Мы встретились, как старые вожди,
с закинутыми головами —

от гордости, от знанья, что к чему,
от недоверия и напряженья.
По твоему челу, по моему челу
мелькнуло это тёмное движенье.

Мы встретились, как дети поутру,
с закинутыми головами —
от нежности, готовности к добру
и робости перед словами.

Сентябрь, сентябрь, во всем твоя вина,
ты действовал так слепо и неверно.
Свобода равнодушья, ты одна
будь проклята и будь благословенна.

Счастливы подзащитные твои —
в пределах крепости, поставленной тобою,
неуязвимые для боли и любви,
как мстительно они следят за мною.

И мы увиделись. Справлял свои пиры
сентябрь, не проявляя недоверья.
Но, оценив значительность игры,
отпрянули все люди и деревья.

III

Прозрели мои руки. А глаза —
как руки — стали действенны и жадны.
Обильные возникли голоса
в моей гортани, высохшей от жажды

по новым звукам. Эту суть свою
впервые я осознаю на воле.
Вот так стоишь ты. Так и я стою —
звукящая, открытая для боли.

Сентябрь добавил нашим волосам
оранжевый оттенок увяданья.
Он жить учил нас, как живет он сам, —
напрягшись для последнего свиданья...

IV

Темнеет наше отдаленье,
нарушенное, позади.
Как щедро это одаренье
меня тобой! Но погоди —

любимых так не привечают.
О нежности перерасход!
Он все пределы превышает.
К чему он дальше приведёт?

Так — жемчугами осыпают,
и не спасает нас навес,
так — музыкою осеняют,
так — дождик падает с небес.

Так ты протягиваешь руки
навстречу моему лицу,
и в этом — запахи и звуки,
как будто вечером в лесу.

Так — головой в траву ложатся,
так — держат руки на груди
и в небо смотрят. Так — лишаются
любимого. Но погоди —

сентябрь ответит за растрату
и волею календаря
еще изведает расплату
за то, что крал у октября.

И мы причастны к этой краже.
Сентябрь, всё кончено? Листы
уж падают? Но мы-то — краше,
но мы надежнее, чем ты.

Да, мы немалый шанс имеем
не проиграть. И говорю:
— Любимый, будь высокомерен
и холоден к календарю.

Наш праздник им не обозначен.
Вне расписания его
мы вместе празднуем и плачем
на гребне пира своего.

Все им предписанные будни
как воскресения летят,
и музыка играет в бубны,
и карты бубнами лежат.

Зато как Новый год был жалок.
Разлука, будни и беда
плясали там. Был воздух жарок,
а лёд был груб. Но и тогда

там ёлки не было. Там было
иное дерево. Оно —
сияло и звалось рябина,
как в сентябре и быть должно.

V

Сентябрь — чудак и выживать мастак.
Быть может, он не разминется с нами,
пока не будет так, не будет так,
что мы его покинем сами.

И станет он покинутый тобой,
и осень обнажит свои прорехи,
и мальчики и девочки гурьбой
появятся, чтоб собирать орехи.

Вот щёлкают и потрошат кусты,
репейники приклеивают к платью
и говорят: — А что же плачешь ты? —
Что плачу я? Что плачу?

Наладится такая тишина,
как под водой, как под морской водою.
И надо жить. У жизни есть одна
привычка — жить, что б ни было с тобою.

Изображать счастливую чету,
и отдыщаться в этой жизни мирной,
и преступить заветную черту
блаженной тупости. Но ты, мой милый,

ты на себя не принимай труда
печалиться. Среди зимы и лета,
в другие месяцы — нам никогда
не испытать оранжевого цвета.

Отпразднуем последнюю беду.
Рябиновые доломаем ветки.
Клянусь тебе двенадцать раз в году:
я в сентябре. И буду там вовеки.

* * *

Ты говоришь — не надо плакать.
А может быть, и впрямь, и впрямь
не надо плакать — надо плавать
в холодных реках. Надо вплавь

одолевать ночную воду,
плывущую из-под руки,
чтоб даровать себе свободу
другого берега реки.

Недаром мне вздыхалось сладко
в Сибири, в чистой стороне,
где доверительно и слабо
растенья никнули ко мне.

Как привести тебе примеры
того, что делалось со мной?
Мерцают в памяти предметы
и отдают голубизной.

Байкала потаенный омут,
где среди медленной воды
посверкивая ходит омуль
и пёрышки его видны.

И те дома, и те сараи,
заметные на берегах,
и цвета яркого саранки,
мгновенно сникшие в руках.

И в белую полоску чудо —
внезапные бурундуки,
так испытующе и чутко
в меня вперевавшие зрачки.

Так завлекала и казнила
меня тех речек глубина.
Гранёная вода Кизира
была, как пламень, холодна.

И опровергнуто лукавство
моё и все слова твои
напоминающей лекарство
целебной горечью травы.

Припоминается мне снова,
что там, среди земли и ржи,
мне не пришлось сказать ни слова,
ни слова маленького лжи.

1959

* * *

Влечёт меня старинный слог,
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспыльчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навеки проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозвездно повод твой
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил таарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

1959

СВЕТОФОРЫ

Геннадию Хазанову

Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.

Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: «Постой, не гони».

Благодарна я им за смешенье
этих двух разноцветных огней,
но во мне происходит смешенье
этих двух разноцветных кровей.

О, извечно гудел и сливался,
о, извечно бесчинствовал спор:
этот добрый рассудок славянский
и косой азиатский напор.

Видно, выход — в движенье, в движенье,
в голове, наклоненной к рулю,
в бесшабашном головокруженье
у обочины на краю.

И, откидываясь на сиденье,
говорю себе: «Погоди».
Отдаю себя на съеденье
этой скорости впереди.

1959

ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помыкает.
На грех наводит, за собой маня.
Моя работа мне не помогает
и мстительно сторонится меня.

Я ей вовеки соблюдаю верность,
пишу стихи у краешка стола,
и всё-таки меня снедает ревность,
когда творят иные мастера.

Поёт высоким голосом кинто —
и у меня в тбилисском том духане,
в картинной галерее и в кино
завистливо заходится дыханье.

Когда возводит красную трубу
печник на неожитом новом доме,
я тоже вытираю о траву
замаранные глиною ладони.

О, сделать так, как сделал оператор,
послушно перенять его пример
и, пристально приникнув к аппаратам,
прищуриться на выбранный предмет.

О, эта жадность деревце сажать,
из лейки лить на грядках неполитых
и линии натурщиц отражать,
размазывая краски на палитрах!

Так власть чужой работы надо мной
меня жестоко требует к ответу.
Но не прошу я участи иной.
Благодарю скромную радость эту.

1959

ПЯТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИКОВ

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,
а может быть, и меньше, чем пятнадцать,
испуганными голосами
мне говорили:

«Пойдём в кино или в музей изобразительных искусств».

Я отвечала им примерно вот что:

«Мне некогда».

Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.

Пятнадцать мальчиков надломленными голосами
мне говорили:

«Я никогда тебя не разлюблю».

Я отвечала им примерно вот что:

«Посмотрим».

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.
Они исполнили тяжелую повинность
подснежников, отчаянья и писем.

Их любят девушки —
иные красивее, чем я,
иные некрасивей.

Пятнадцать мальчиков преувеличенно свободно,
а подчас злорадно
приветствуют меня при встрече,
приветствуют во мне при встрече
своё освобождение, нормальный сон и пищу..

Напрасно ты идешь, последний мальчик.
Поставлю я твои подснежники в стакан,
и коренастые их стебли обрастут
серебряными пузырьками...
Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь,
и, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно,
как будто победил меня,
а я пойду по улице, по улице...

1950-е

* * *

Я думала, что ты мой враг;
что ты беда моя тяжёлая,
а ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя — дешёвая.

На площади Манежной
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал
там, в Александровском саду,
и руки грел, а всё обманывал,
всё думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной враньё,
похожее на вороньё.

Но вот в последний раз прощаешься,
в глазах ни сине, ни черно.
О, проживешь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.

Но как же всё напрасно,
но как же всё нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.

* * *

Жилось мне весело и шибко.
Ты шёл в заснеженном плаще,
и вдруг зеленый ветер шипра
вздымал косынку на плече.

А был ты мне ни друг, ни недруг.
Но вот бревно. Под ним река.
В реке, в ее ноябрьских недрах,
займётся пламенем рука.

«А глубоко?» — «Попробуй смеряй!»
Смеюсь, зубами лист беру
и говорю: «Ты парень смелый.
Пройдись по этому бревну».

Ого! — тревоги выраженье
в твоей руке. Дрожит рука.
Ресниц густое ворошенье
над замиранием зрачка.

А я иду (сначала боком), —
о, поскорей бы, поскорей! —
над тёмным холодом, над бойким
озябшим ходом пескарей.

А ты проходишь по перрону,
закрыв лицо воротником,
и тлеющую сигарету
в снегу кончаешь каблуком.

1950-e

* * *

Чем отличаюсь я от женщины с цветком,
от девочки, которая смеётся,
которая играет перстеньком,
а перстенёк ей в руки не даётся?

Я отличаюсь комнатой с обоями,
где так сижу я на исходе дня
и женщина с манжетами собольими
надменный взгляд отводит от меня.

Как я жалею взгляд ее надменный,
и я боюсь, боюсь ее спугнуть,
когда она над пепельницей медной
склоняется, чтоб пепел отряхнуть.

О, Господи, как я ее жалею,
плечо ее, понурое плечо,
и беленькую тоненькую шею,
которой так под мехом горячо!

И я боюсь, что вдруг она заплачет,
что губы ее страшно закричат,
что руки в рукава она запрячет
и бусинки по полу застучат...

СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста.
Ни о чём я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной супровость,
нежность родины чужой.

1960

СПАТЬ

Мне — пляшущей под мцхетскою луной,
мне — плачущей любою мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длиной,
не умещённой в храм Свети-Цховели,
мне — обнажённой ниткой серебра
продёрнутой в твою иглу, Тбилиси,
мне — жившней, как преступник, — до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне — не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне — с нищими поющей на мосту:
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши»,
мне — скачущей наискосок и вспять
в бессоннице, в ее дурной потехе, —
о господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.
Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.
Спать — медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сласть,
пролив слюною сладости избыток.

Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дальше искушать себя секретом
погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.
Как приторен в гортани привкус сна.

Движение рук свежо и неумело.
Неопытность воскресшего Христа
глубокой ленью сковывает тело.
Мозг слеп, словно остывшая звезда.
Пульс тих, как сок в непробуждённом древе.
И — снова спать! Спать долго. Спать всегда.
Спать замкнуто, как в материнском чреве.

1960

СВЕЧА

Геннадию Шпаликову

Всего-то — чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.

И поспешит твоё перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
всё чаще, способом старинным,
и сталактитом стеаринным
займёшься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

1960

АПРЕЛЬ

Вот девочки — им хочется любви.
Вот мальчики — им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположенья,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,
приблизишь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь — медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.

1960

* * *

Мы расстаёмся — и одновременно
овладевает миром перемена,
и страсть к измене так в нём велика,
что берегами брезгает река,
охладеваю к небу облака,
кивает правой левой рука
и ей надменно говорит: — Пока!

Апрель уже не предвещает мая,
да, мая не видать вам никогда,
и распадается иван-да-марья.
О, жёлтого и синего вражда!

Свои растенья вытравляет лето,
долготы отстранились от широт,
и белого не существует цвета —
остались семь его цветных сирот.

Природа подвергается разруже,
отливы превращаются в прибой,
и молкнут звуки — по вине разлуки
меня с тобой.

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный, —

в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищённый мной,
мой голос плачет отвлечённо.

Я знаю — там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжёт, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлеченья колдуна.

Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом «эль»,
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусили свободы той
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю, злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости — и снов моих
нецеломудренны туманы.

В МЕТРО НА ОСТАНОВКЕ «СОКОЛ»

Не знаю, что со мной творилось,
не знаю, что меня влекло.
Передо мною отворилось,
распавшись надвое, стекло.

В метро на остановке «Сокол»
моя поникла голова.
Спросив стакан с томатным соком,
я простояла час и два.

Я что-то вспомнить торопилась
и говорила невпопад:
— За красоту твою и милость
благодарю тебя, томат.

За то, что влагою ты влажен,
за то, что овощем ты густ,
за то, что красен и отважен
твой детский поцелуй вокруг уст.

А люди в той неразберихе,
направленные вверх и вниз,
как опаляющие вихри,
над головой моей неслись.

У каждой девочки, скользящей
по мрамору, словно по льду,
опасный, огненный, косящий
зрачок огромный цвёл во лбу.

Вдруг всё, что тех людей казнило,
всё, что им было знать дано,
в меня впилось легко и сильно,
словно иголка в полотно.

И утомлённых женщин слёзы,
навек прилившие к глазам,
по мне прошли, будто морозы
по обнажённым деревам.

Но тут владычица буфета,
вся белая, как белый свет,
воскликнула:
— Да что же это!
Уйдешь ты всё же или нет?

Ах, деточка, мой месяц ясный,
пойдем со мною, брось тужить!
Мы в роще Марьиной прекрасной
с тобой, две Марыи, будем жить.

В метро на остановку «Сокол»
с тех пор я каждый день хожу.
Какой-то горестью высокой
горюю и вокруг гляжу.

И к этой Марье бесподобной
припав, как к доброму стволу,
потягиеваю сок холодный
иль просто около стою.

ПРОЩАНИЕ

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? — ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? — ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело
и бродит, видит белый свет,
но тело моё опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

1960

* * *

Веничке Ерофееву

Кто знает — вечность или миг
мне предстоит бродить по свету.
За этот миг иль вечность эту
равно благодарю я мир.

Что б ни случилось, не кляну,
а лишь благословляю лёгкость:
твоей печали мимолётность,
моей кончины тишину.

1960

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

1960

ДЕКАБРЬ

Мы соблюдаем правила зимы.
Играем мы, не уступая смеху
и придавая очертанья снегу,
приподнимаем белый снег с земли.

И будто бы предчувствуя беду,
прохожие толпятся у забора,
снедает их тяжёлая забота:
а что с тобой имеем мы в виду?

Мы бабу лепим — только и всего.
О, это торжество и удивленье,
когда и высота и удлиненье
зависят от движенья твоего.

Ты говоришь: — Смотри, как я леплю.
Действительно, как хорошо ты лепишь
и форму от бесформенности лечишь.
Я говорю: — Смотри, как я люблю.

Снег уточняет все свои черты
и слушается нашего приказа.
И вдруг я замечаю, как прекрасно
лицо, что к снегу обращаешь ты.

Проходим мы по белому двору,
прохожих мимо, с выраженьем дерзким.
С лицом таким же пристальным и детским,
любимый мой, всегда играй в игру.

Поддайся его долгому труду,
о моего любимого работа!
Даруй ему удачливость ребёнка,
рисующего домик и трубу.

1960

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Мороз, сиянье детских лиц,
и легче совладать с рассудком,
и зимний день — как белый лист,
ещё не занятый рисунком.

Ждёт заполненья пустота,
и мы ей сделаем подарок:
простор листа, простор холста
мы не оставим без помарок.

Как это делает дитя,
когда из снега бабу лепит,—
творить легко, творить шутя,
впадая в этот детский лепет.

И, слава богу, всё стоит
тот дом среди деревьев дачных,
и моложав еще стариk,
объявленный как неудачник.

Вот он выходит на крыльцо,
и от мороза голос сипнет,
и галка, отряхнув крыло,
ему на шапку снегом сыплет.

И стало быть, недорешен
удел, назначенный мольвою,
и снова, словно дирижер,
он не робеет стать спиною.

Спиною к нам, лицом туда,
где звуки ждут его намёка,
и в этом первом «та-та-та»
как будто бы труда немного.

Но мы-то знаем, как велик
труд, не снискавший одобренья.
О зимний день, зачем велиишь
работать так, до одуренья?

Позволь оставить этот труд
и бедной славой утешаться.
Но — снег из туч! Но — дым из труб!
И невозможно удержаться.

1960

НОВАЯ ТЕТРАДЬ

Смухаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так стоит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером её терзать,
марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок
недолог. Перевернута страница.
Бумаге белой нанеся урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.

1960—1961

* * *

Жила в позоре окаянном,
а всё ж душа — белым-бела.
Но если кто-то океаном
и был — то это я была.

О, мой купальщик боязливый!
Ты б сам не выплыл — это я
волною нежной и брезгливой
на берег вынесла тебя.

Что я наделала с тобою!
Как позабыла в той беде,
что стал ты рыбой голубою,
взлелеянной в моей воде!

Я за тобой приливом белым
вернулась. Нет за мной вины.
Но ты в своем испуге бедном
отпрянул от моей волны.

И повторяют вслед за мною,
и причитают все моря:
о ты, дитя мое родное,
о, бедное — прости меня!

1960 — 1961

* * *

О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опинаясь на партнёра!

К проклятой помощи твоей
я не прибегнула ни разу.
Среди кулис, среди теней
ты спасся, незаметный глазу.

Но в этом сраме и бреду
я шла пред публикой жестокой —
всё на беду, всё на виду,
всё в этой роли одинокой.

О, как ты гоготал, партер!
Ты не прощал мне очевидность
бесстыжую моих потерь,
моей улыбки безобидность.

И жадно шли твои стада
напиться из моей печали.
Одна, одна — среди стыда
стою с упавшими плечами.

Но опрометчивой толпе
герой действительный не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам.

Вся наша роль — моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.
Вся наша боль — моя лишь боль.
Но сколько боли. Сколько. Сколько.

1960—1961

* * *

Смотрю на женщин, как смотрели встарь,
с благоговением и выжиданьем.
О, как они умеют сесть и встать,
и голову склонить над вышиваньем.

Но ближе мне могучий род мужчин,
раздумья их, сраженья и проказы.
Склоненные под тяжестью морщин,
их лбы так величавы и прекрасны.

Они — воители, творцы наук и книг.
Наставая на высоком сходстве,
намереваюсь приравняться к ним
я в мастерстве своем и благородстве.

Я — им чета. Когда пришла пора,
присев на покачнувшиеся нары,
я, запрокинув голову, пила,
чтобы не пасть до разницы меж нами.

Нам выпадет один почёт и суд,
работавшим толково и серьёзно.
Обратную разоблачая суть,
как колокол звенит моя серёжка.

И в звоне том — смятенье и печаль,
незащищенность детская и слабость.
И доверяю я мужским плечам
неравенства томительную сладость.

1960—1961

* * *

Так и живем — напрасно маясь,
в случайный веря навет.
Какая маленькая малость
нас может разлучить навек.

Так просто вычислить, прикинуть,
что без тебя мне нет житья.
Мне надо бы к тебе приникнуть.
Иначе поступаю я.

Припав на желтое сиденье,
сижу в косынечке простой
и направляюсь на съеденье
той тёмной станции пустой.

Иду вдоль белого кладбища,
оглядываюсь на кресты.
Звучат печально и комично
шаги мои средь темноты.

О, снизойди ко мне, разбойник,
присвистни в эту тишину.
Я удивленно, как ребенок,
в глаза недобрые взгляну.

Зачем я здесь, зачем ступаю
на темную тропу в лесу?
Вину какую искупаю
и наказание несу?

О, как мне надо возродиться
из этой тьмы и пустоты.
О, как мне надо возвратиться
туда, где ты, туда, где ты.

Так просто станет всё и цельно,
когда ты скажешь мне слова
и тяжело и драгоценны
ко мне склонится голова.

1960–1961

* * *

Из глубины моих невзгод
молясь о милом человеке.
Пусть будет счастлив в этот год,
и в следующий, и вовеки.

Я, не сумевшая постичь
простого таинства удачи,
беду к нему не допустить
стараюсь так или иначе.

И не на радость же себе,
загородив его плечами,
ему и всей его семье
желаю миновать печали.

Пусть будет счастлив и богат.
Под бременем наград высоких
пусть подымает свой бокал
во здравие гостей весёлых,

не ведая, как наугад
я билась головою оземь,
молясь о нём — средь неудач,
мне отведённых в эту осень.

1960—1961

ЖЕНЩИНЫ

Какая сладостная власть
двух женских рук, и глаз, и кожи.
Мы этой сладостию всласть
давно отравлены. И всё же —

какая сладостная власть
за ней, когда она выходит
и движется, вступая в вальс,
и нежно голову отводит.

И нету на неё суда!
В ней всё так тоненько и ломко,
и ненадёжно. Но всегда
казнит меня головоломка:

при чём здесь я? А я при чём?
Ведь было и моим уделом
не любоваться тем плечом,
а поводить на свете белом.

И я сама ступала вскользь,
сама, сама, и в той же мере
глаза мои смотрели вкось
и дерзость нравиться имели.

Так неужели дело в том,
другом волнены и отваге,
и в отдалении глухом,
и в приближении к бумаге,

где все художники равны
и одинаково приметны,
и женщине предпочтены
все посторонние предметы.

Да, где-то в памяти, в глухи,
другое бодрствует начало.
Но эта сторона души
мужчин от женщин отличала.

О, им дано не рисковать,
а только поступать лукаво.
О, им дано не рисовать,
а только обводить лекало.

А разговоры их! А страсть
к нарядам! И привычка к смеху!
И всё-таки — какая власть
за нею, выходящей к свету!

Какой продуманный чертёж
лица и рук! Какая точность!
Она приходит — и в чертог
каморка расцветает тотчас.

Как нам глаза ее видны,
как всё в них тёмно и неверно!
И всё же — нет за ней вины,
и будь она благословенна.

ВУЛКАНЫ

Молчат потухшие вулканы,
на дно их падает зола.
Там отдыхают великаны
после содеянного зла.

Всё холоднее их владенья,
всё тяжелее их плечам,
но те же грешные виденья
являются им по ночам.

Им снится город обречённый,
не знающий своей судьбы,
базальт, в колонны обращённый
и обрамляющий сады.

Там девочки берут в охапки
цветы, что расцвели давно,
там знаки подают вакханки
мужчинам, тянувшим вино.

Всё разгораясь и глупея,
там пир идёт, там речь груба.
О девочка моя, Помпея,
дитя царевны и раба!

В плену судьбы своей везучей
о чём ты думала, о ком,
когда так храбро о Везувий
ты опиралась локотком?

Заслушалась его рассказов,
расширила зрачки свои,
чтобы не вынести раскатов
бездержной его любви.

И он челом своим умнейшим
тогда же, на исходе дня,
припал к ногам твоим умершим
и закричал: «Прости меня!»

1960—1961

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Какой безумец празднество затеял
и щедро Днём поэзии нарёк?
По той дороге, где мой след затерян,
стекается на празднество народ.

О славный день, твои гуляки буйны.
Я на себя их смелость не беру.
Ты для меня — торжественные будни.
Не пировать мне на твоём пиру.

А в публике — доверье и смущенье.
Как добрая душа её проста.
Великого и малого смешенье
не различает эта доброта.

Пока дурачит слух её невежда,
пока никто не видит в этом зла,
мне остаётся смутная надежда,
что праздники слuchаются не зря.

Не зря слова поэтов осеняют,
не зря, когда звучат их голоса,
у мальчиков и девочек сияют
восторгом и неведеньем глаза.

1961

* * *

И снова, как огни мартенов,
огни грозы над головой...
Так кто же победил: Мартынов
иль Лермонтов в дуэли той?
Дантес иль Пушкин. Кто там первый?
кто выиграл и встал с земли?
Кого дорогой этой белой
на чёрных санках повезли?
Но как же так — по всем приметам
другой там выиграл, другой,
не тот, кто на снегу примятом
лежал курчавой головой!
Что делать, если в схватке дикой
всегда дурак был на виду,
меж тем как человек великий,
как мальчик, попадал в беду...
Чем я утешу поражённых
ничтожным превосходством зла,
осмеянных и отчуждённых
поэтов, погибавших зря?
Я так скажу: на самом деле,
давным-давно, который год,
забыли мы и проглядели,
что всё идёт наоборот:

Мартынов пал под той горою,
он был наказан тяжело,
а вороньё ночной порою
его терзало и несло.

А Лермонтов зато сначала
всё начинал и гнал коня,

и женщина ему кричала:
люби меня! Люби меня!

Дантес лежал среди сугроба,
подняться не умел с земли,
а мимо медленно, сурого,
не оглянувшись, люди шли.

Он умер или жив остался —
никто того не различал,
а Пушкин пил вино, смеялся,
друзей встречал, озорничал.
Стихи писал, не знал печали,
дела его прекрасно шли,
и поводила всё плечами
и улыбалась Натали.

Для их спасения навечно
порядок этот утверждён.
И торжествующий невежда
приговорён и осуждён.

1961

ЗИМА

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И всё сильней соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и приникать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив прощать,
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нём
его оттенком малым.

Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеной
не тень мою, а свет,
не заслонённый мною.

1961

БОЛЕЗНЬ

О боль, ты — мудрость. Суть решений
перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах
был разум мой высок и скуп,
но трав целебных поределых
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,
я, с точностью того зверька,
принюхавшись, нашла свой выход
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!
О, всех простить, всем передать
и нежную, как облученье,
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!
При вас лишь, в бедности моей,
я плакала от смутной веры
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!
Пусть вы протянуты к тому,
что лишь моей любви и муки
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собачьи!
Вы были мне укор и суд.
Все мои горестные плачи
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!
Целую наспех все уста!
Во мне, как в мёртвом теле круга,
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и лёгкость,
как в белых дребезгах перин,
и уж не тягостен мой локоть
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моей кожей.
Жду одного: на склоне дня,
охваченный болезнью схожей,
пусть кто-нибудь простит меня.

1961

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой,
когда былой уже закончен труд
и — лень и сладко труд затеять новый.

Как труд былой томил меня своим
небыстрым ходом! Но — за проволочку —
теперь сполна я расквиталась с ним,
пощёчиной в него влепивши точку.

Меня прощает долгожданный сон.
Целует в лоб младенческая лёгкость.
Свободен — легкомысленный висок.
Свободен — спящий на подушке локоть.

Смотри, природа, — розов и мордаст,
так кротко спит твой бешеный сангвиник,
всем утомленьем в克莱ившись в матрац,
как зуб в десну, как дерево в суглиноч.

О, спать да спать, терпеть счастливый гнёт
неведенья рассудком безрассудным.
Но день воскресный уж баклушки бьёт
то детским плачем, то звонком посудным.

Напялив одичавший неуют
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,
хозяйки, чтоб хозяйствничать, встают,
и пробуждает ноздри запах кофе.

Пора вставать! Бесстрастен и суров,
холодный душ уже развесил розги.
Я прыгаю с постели, как в сугроб —
из бани, из субтропиков — в морозы.

Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.
О умывальник, как люты твои
чудовища — вода и полотенце.

Прекрасен день декабрьской теплоты,
когда туманы воздух утолщают
и зрелых капель чистые плоды
бесплодье зимних веток утешают.

Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,
ликую я — твой добрый обыватель,
вдыхатель твоей влажности густой,
твоих сосулек тёплых обрыватель.

Дай созерцать твой белый свет и в нём
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моём,
восполнить бы желала и умела.

Играя в смех, в иные времена,
нога ледок любовно расколола.
Могуществом кофейного зерна
язык так пьян, так жаждет разговора.

И, словно дым, затмивший недра труб,
глубоко в горле возникает голос.
Ко мне крадётся ненасытный труд,
терпящий новый и весёлый голод.

Ждёт насыщенья звуком немота,
зияя пустотою, как скворешник,
весну корящий, — разве не могла
его наполнить толчёй сердечек?

Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев
мне не бродить. Но что всё это значит?
Бумаги белый и отверстый зев
ко мне взвывает и участья алчет.

Иду — поить губами клюв птенца,
наскучившего и опять родного.
В ладонь склоняясь тяжестью лица,
я из безмолвья выズволяю слово.

В неловкой позе у стола присев,
располагаю голову и плечи,
чтоб обижал и ранил их процесс,
к устам влекущий восхожденье речи.

Я — мускул, нужный для её затей.
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,
свершить звукорожденье и затем
забыть меня навеки и покинуть.

Я для неё — лишь дудка, чтоб дудеть.
Пускай дудит и веселит окрестность.
А мне опять — заснуть, как умереть,
и пробудиться утром, как воскреснуть.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —
достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидящ, как Господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
слетают насморки с небес предзимних
и нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж дерев и стен,
сам для себя неведомый и странный,
пока ещё банальности туманной
костей твоих не обличил рентген.

Ещё ты скучен, и здоров, и груб,
но вот тебе с улыбкой добродушной
простуда шлёт свой поцелуй воздушный,
и медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник
ни дружб твоих, ни праздничных процессий.
Благоговейно подтверждает Цельсий
твой сан особый средь людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течёт
под мышкой ртуть, она замрёт — и тотчас
определит серебряная точность,
какой тебе оказывать почёт.

И аспирина тягостный глоток
дарит тебе непринужденность духа,
благие преимущества недуга
и смелости недобрый холодок.

1962

МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело, —
мне маленькие самолеты
всё сняться, не пойму с чего.

Им всё равно, как сниться мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбёшка
так ходят возле ног ребёнка,
щекочет и смешит ступни.

Порой вокруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми
ко мне пришли, и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: «На руки возьми!»

А то глаза открою: в ряд
Все маленькие самолёты,
как маленькие Соломоны,
всё знают и вокруг сидят.

Прогонишь — снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы,
кося белком, как будто таксы,
тела их долгие плывут.

Что ж, он навек дарован мне —
сон жалостный, сон современный,
и в нём — ручной, несоразмерный
тот самолётик в глубине?

И всё же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы —
следить огромные те громы,
озвучившие времена.

Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю — ты всё проверил,
мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром
всех обманул — на самом деле
ты крошка, ты дитя, ты еле
заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно, боязно расстаться
тебе со мной — такой большой?

Но там, куда ты вознесён,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолётик!

1962

ОЗНОБ

Хвораю, что ли, — третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:
— Я дрожу
всё более — без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я ухожу из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролёт,
следил за мной брезгливо, но без фальши.
Его я обнадёжила:
— Пролог
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, взглядом скорбным,
мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Всё тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и ревятся!
Моё же тело, свергнув власть мою,
ведёт себя надменно и развязно.

Оно всё дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

Всё это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:

– Ваша болезнь проста.

Она была бы и вовсе безобидна,

но ваших колебаний частота

препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда выбирает предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведён на нет
и выглядит как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор
к моим предметам неопределённым,
и острый электрический прибой
охолодил меня огнём зелёным.

И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожься, добрый доктор, оглянись!

Но он, не озадаченный nimalo,

провозгласил:

– Ваш бедный организм

сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность этой высшей норме.
Не умещаясь в узости ума,
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств
наученная, нервная система,
пробившись, как пружины сквозь матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к чёрту! Пусть
им захлебнусь, как Петербург Невою!

А по ночам — мозг навострится, ждёт.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что скрипнет дверь иль книга упадёт,
и — взрыв! и — всё! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселённых, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я — всё собою портила! Я — рай
растлила б грозным неугютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по нотным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятым языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровлением
через своих детей и, говорят,
хвалил меня пред домоуправлением.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побеждённого коня,
мой каждый шаг медлителен, strenожен.
Всё хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач ещё меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь всё, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпься! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочных мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалей,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я — балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока ещё я не дрожу, о, нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

1962

**СКАЗКА О ДОЖДЕ
в нескольких эпизодах
с диалогом и хором детей**

1

Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял сурный зной.
Дождь был со мной, забыв про всё на свете.
Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе
и спряталась за стол, укрытый нишней.
Дождь за окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека
наказана пощёчинаю влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моём плече, как обезьяна,
сидел.
И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,
Дождь детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Всё было сухо.
И только я промокла до костей.

2

Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила: — Доброта
во мне сильна, но всё ж не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично. —
Дождь на меня смотрел, как сирота.

— Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!
 Какой любовью на меня ты пролит?
 Ах, этот странный климат, будь он проклят! —
 Прощённый Дождь запрыгал впереди.

3

Хозяин дома оказал мне честь,
 которой я не стоила. Однако,
 промокшая всей шкурой, как ондатра,
 я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,
 дышал в затылок жалко и щекотно.
 Шаги — глазок — молчание — щеколда.
 Я извинилась: — Этот Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?
 Он слишком влажный, слишком удлинённый
 для комнат.
 — Вот как? — молвил удивлённый
 хозяин, изменившийся в лице.

4

Признаться, я любила этот дом.
 В нём свой балет всегда вершила лёгкость.
 О, здесь углы не ушибают локоть,
 здесь палец не порежется ножом.

Любила всё: как медленно хрустят
 шелка хозяйки, затененной шарфом,
 и, более всего, пленённый шкафом —
 мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший спектр,
в гробу стеклянном, мёртвый и прелестный.
Но я очнулась. Ритуал приветствий,
как опера, станцован был и спет.

5

Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить несовременно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О блеск грозы,
смиренный в тонком горлышке гордячки!)
— Благодарю, — сказала я, — в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:
— Живу хоть суетно, но славно,
тем более что снова вижу вас.)

Она произнесла:
— Я вас браню.
Помилуйте, такая одарённость!
Сквозь дожды! И расстоянья отдалённость! —
Вскричали все:
— К огню ее, к огню!

— Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, средь музыки и браны,
мы свидимся опять при барабане,
вскричите вы:
«В огонь ее, в огонь!»

За всё! За дождь! За после! За тогда!
 За чернокнижье двух зрачков чернейших,
 за звуки, с губ, как косточки черешни,
 летящие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.
 Огонь, мой брат, мой пёс многоязыкий!
 Лижи мне руки в нежности великой!
 Ты — тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог, —
 проговорил хозяин уязвленный. —
 Но, впрочем, слава поросли зеленою!
 Есть прелесть в поколенье молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
 просила я. — Всё это Дождь наделал.
 Да, это Дождь меня терзал, как демон.
 Да, это Дождь вовлёк меня в беду.

И вдруг я увидала — там, в окне,
 мой верный Дождь один стоял и плакал.
 В моих глазах двумя слезами плавал
 лишь след Дождя, оставшийся во мне.

6

Одна из гостей, протянув бокал,
 туманная, как голубь над карнизом,
 спросила с неприязнью и капризом:
 — Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли муж? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? — Есть что-то
неизлечимо нищее во мне

Его я научила колдовству —
во мне была такая откровенность, —
он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
Спасем звезду из тесноты колечка! —
Она кольца мне не дала, конечно,
в недоуменье отстранив лицо.

— И, знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспалялся вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7

Всё, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:
— Одаренных Богом
кто одаряет? И каким путём?

Как погремушкой мной гремел озноб:
— Приходит Бог, преласков и превесел,
немножко старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх иль вниз,
в кровь разбивая локти и коленки
о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простины гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,
тот острый купол помните? Представьте —
всей кожей об него!
— Да вы присядьте! —
она меня одернула в сердцах.

8

Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я всё лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на губах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,
дитя твоё, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаянье вседенном и всенощном
над детищем твоим, о, над сыночком
великой поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:
— Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!

9

Тут хор детей возник невдалеке:

— Ах, так сложилось время —
смешинка нам важна!
У одного еврея —
хе-хе! — была жена.

Его жена корпела
над тягостным трудом,
чтоб выросла копейка
величиною с дом.

О, капелька металла,
созревшая как плод!
Ты солнышком вставала,
украсив небосвод.

Всё это только шутка,
наш номер, наш привет.
Нас весело и жутко
растит двадцатый век.

Мы маленькие дети,
но мы растём во сне,
как маленькие деньги,
окрепшие в казне.

В лопатках — холод милый
и острия двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скучно,
нас трогает порой
искусствочко, искусство,
ребёночек чужой.

Родителей оплошность
искупим мы. Ура!
О, пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол!

10

Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.
Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали груда
над мальчиком, заснувшим спозаранку,
в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нём, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга — в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный Блок?
Медведица, вы для какой забавы
в детёныше влюбленными зубами
выщелкивали Бога, словно блох?

11

Хозяйка налила мне коньяка:
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —
Прощай, мой Дождь!
Как весело, как мило
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чём не виновато.
Во мне расщеплен атом винограда,
во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревам склоненным.
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь всё больше, всё добрей!
Смотрите — я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж мне тесно средь окон и дверей!

О Господи, какая доброта!
 Скорей! Жалеть до слёз! Пасть на колени!
 Я вас люблю! Застенчивость калеки
 бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?
 Обидьте! Не жалейте, обижая!
 Вот кожа моя — голая, большая:
 как холст для красок, чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!
 Как небеса, круглы мои объятья.
 Мы из одной купели. Все мы братья.
 Мой мальчик, Дождь! Скорей иди сюда!

12

Прошел по спинам быстрый холодок.
 В тиши раздался страшный крик хозяйки.
 И ржавые, оранжевые знаки
 вдруг выплыли на белый потолок.

И — хлынул Дождь! Его ловили в таз.
 В него впивались веники и щётки.
 Он вырывался. Он летел на щёки,
 прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.
 Звенел, играя с хрусталем воскресшим.
 Но дом над ним уж замыкал свой скрежет,
 как мышцы обрывающий капкан.

Дождь с выраженьем ласки и тоски,
паркет марага, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, поднимая брюки,
примерившись, вбивали каблуки.

Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:
— Не трогайте! Он мой!

Дождь был живой, как зверь или дитя.
О, вашим детям жить в беде и муке!
Слепые, тайн не знающие руки
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:
— Учти,
еще ответишь ты за эту встречу!
Я засмеялась:
— Знаю, что отвечу.
Вы безобразны. Дайте мне пройти.

13

Страшил прохожих вид моей беды.
Я говорила:
— Ничего. Оставьте.
Пройдёт и это. —
На сухом асфальте
я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,
и горизонт вокруг города был розов.
Повергнутое в страх Бюро прогнозов
осадков не сулило никогда.

1962

ОСЕНЬ

Не действя и не дыша,
всё слаще обмирает улей.
Всё глубже осень, и душа
всё опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив
плода, из пустяка пустого
отлитого. Как кропотлив
труд осенью, как тяжко слово.

Значительнее, что ни день,
природа ум обременяет,
похожая на мудрость лень
уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед
влекущее,
вертя педалью,
вдруг поглядит на белый свет
с какой-то ясною печалью.

1962

ПАМЯТИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Начну издалека, не здесь, а там,
начну с конца, но он и есть начало.
Был мир как мир. И это означало
всё, что угодно, в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, —
так невелик и всё-таки обширен.
Там, прихотью младенческих ошибок,
всё было так и всё наоборот.

На маленьком пространстве тишины
был дом как дом. И это означало,
что женщина в нем головой качала
и рано были лампы зажжены.

Там труд был лёгок, как урок письма,
и кто-то — мы еще не знали сами —
замаливал один пред небесами
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом
был он повинен. И земля летела
неосторожно, как она хотела,
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —
какая разница? — пред белым светом,
позволив нам не хлопотать об этом,
он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел
возник над миром, около восхода,
толчком заторможённая природа
переместила тяжесть наших тел.

Объединённых бедною гурьбой,
врасплох нас наблюдала необъятность,
и наших недостоинств неприглядность
уже никто не возмешкал собой.

В тот дом езжали многие. И те
два мальчика в рубашках полосатых
без робости вступали в палисадник
с малиной, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,
но я чужда привычке современной
налаживать контакт несоразмерный,
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь
смотреть на дом и обращать молитву
на дом, на палисадник, на малину —
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была
лишь следствием, но не залогом лета.
Тогда еще никто не знал, что эта
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,
я шла в деревья, в неизбежность встречи,
в простор его лица, в протяжность речи...
Но рифмовать пред именем твоим?
О, нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских дерев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На нём был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: «О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал. — И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, взмолился: — Ради бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!» Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из кромешной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голоса. Спиной и ладонями я впитывала диковинные приёмы его речи — нарастающее пение фраз, добре восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округло-любовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов вместе по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он легко, по-домашнему, ладил с

корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с кое-как поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: «Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила почти надменно: «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно зайду».

Из леса, как из-за кулис актёр,
он вынес вдруг высокопарность позы,
при этом не выгадывая пользы
у зрителя, — и руки распострёп.

Он сразу был театром и собой,
той древней сценой, где прекрасны речи.
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —
не холодно ли? — вот и всё, не боле.
Как он играл в единственной той роли
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!
всеръёз! до слёз! навеки! не лукавя! —
как он играл, как, молоко лакая,
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми
не принято. Но так поют у рампы,
так завершают монолог той драмы,
где речь идёт о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещает тьму!
Еще не все: — Так заходите завтра! —
О тон гостеприимного азарта,
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,
куда войти — не знаю! невозможно!
И потому, навек неосторожно,
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звёзд, дерев и дач —
после спектакля, в гаснущем партере,
над первым предвкушением потери
так плачут дети, и велик их плач.

* * *

Он утверждал: «Межу теплиц
и льдин, чуть-чуть южнее рая,
на детской дудочке играя,
живёт вселенная вторая
и называется — Тифлис».

Ожог глазам, рукам — простуда,
любовь моя, мой плач — Тифлис!
Природы вогнутый карниз,
где Бог капризный, впав в каприз,
над миром примистил то чудо.

Возник в моих глазах туман,
брала разбег моя ошибка,
когда тот город зыбко-зыбко
лёг полукружьем, как улыбка
благословенных уст Тамар.

Не знаю, для какой потехи
сомнул он надо мной овал,
поцеловал, околдовал
на жизнь, на смерть и наповал —
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Курьи
не пить мне!
И из вод Арагвы
не пить!

И сладости отравы
не ведать!
И лицом в те травы.
не падать!

И вернуть дары,
что ты мне, Грузия, дарила!

Но поздно! Уж отпит глоток,
и вечен хмель, и видит Бог,
что сон мой о тебе — глубок,
как Алазанская долина.

1962

• • •

Когда б спросили... — некому спросить:
пустынна переделкинская осень.
Но я — как раз о ней! Пусть спросят синь
и желтизна, пусть эта церковь спросит,
когда с лучом играет на холме,
пусть спросит холм, скрывающий покуда,
что с ним вовек не разминуться мне,
и ветхий пруд, и дерево у пруда,
пусть осень любопытствует: куда,
зачем спешу по направлению к лету
вспять увяданья? И причем Кура,
когда пора подумывать про Лету?
И я скажу: — О mestность! О судьба!
О свет в окне единственного дома!
Дай миг изъять из моего всегда,
тебе принадлежащего надолго,
дай неизбежность обежать кругом
и уж потом ее настигнуть бегом,
дай мне увидеть землю роз и гор
с их неземным и отстраненным снегом,
дай Грузию по имени назвать,
моей назвать, плениться белым светом
и над Курою постоять. Как знать?
Быть может — нет... а всё ж,
вдруг — напоследок?

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада,
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Всё нужное тебе — в тебе самом, —
подумать, и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.
О, нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: — Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплакав
от нежности, всё плачет тень моя,
где над Курой, в объятой Богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем «Иа»?

И коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и цирка детский круг кому заметен?

О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем всё просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лёта два часа.
И приникаю я лицом к Симону
всё тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пускай же всё само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будем звать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой худобою,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздохнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

* * *

Андрею Вознесенскому

Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелось
мешает слушать мне, как их корят.

Я горестно упрёкам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.

За ним я знаю недостаток злой:
кощунственно венчать «гараж» с «геранью»,
и всё-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землёй.

Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом, —
это глупость.
Гораздо больше в нём азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.

И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским любом таранишь?
Всё это так. Но всё ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»

Люблю, что слова чистого глоток,
как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
серебряный какой-то холодок.

И что-то в нём, хвали или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему — горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.

Всё остальное ждёт нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, Бог не приведи!

1963

СОН

О опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость —
заснуть?
Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Всё знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод
разделяет сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец.
И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячность глаз.

Уж минуло так много дней,
а нежность — облаком вчерашним,
а нежность — обмороком влажным
меня омыла у дверей.

Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.

Я говорю:
— Как здесь туманно...
И я здесь некогда жила.

Я здесь жила — лет сто назад.
— Лет сто? Вы шутите?
— Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
столетием прошлым пахнет сад?

Сто лет прошло, а всё свежи
в ладонях нежности
к родимой
коре деревьев.
Запах дымный
в саду всё тот же.
— Не скажи! —
промолвил садовод в ответ.
Затем спросил:
— Под паутиной,
со старомодной чёлкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли — лет сто назад.

— Возможно, но — жить так давно,
лишь тенью в чердаке оставаться,
и всё затем, чтоб не расстаться
с той нежностью?
Вот что смешно.

1963

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несовременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как — если бы это было возможно — страстью, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей беззащитности, этот еще не существующий ребёнок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но всё же он выигрывает в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии — Стопани — была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но всё же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и

глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чьё добре в влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером... Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нём меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжко терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными — не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нём непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль — их поливать водой!
Мой стебелёк, желающий прибавки,
вытягивать магнитною звездой —
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
– Стариk дурной!
Твой лютый гнев чья доброта поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но всё ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не скалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:
– Чур, чур!
Ты кто?
Рассейся, слабая туманность! —
Я говорю:
– Я — нечто.
Я — чуть-чуть,
грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый возглас
опустошит гортань, чтобы пригубить,
о Жизнь, твой острый, бьющий в ноздри
воздух?

Возражение Игрека:

— Не дождешься, шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловещий,
худобой вороны вешней,
крылья вскинувшей крестом,
жабой, в тине разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной ее белейшей
на кладбище роковом.

(Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,
в чём торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком
и высоким животом

той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полней тайны бесконечной,
и красавицы притом.)

— Помолчи. Я — вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то — есть, а нет — тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.

Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остынет.
Не бывать тебе! Ха-ха.

2

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
простак недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крыльышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
Не он, а я, я — искуситель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей до-жизни неживой,
смертельный я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:
«Не смей! Не знай!» — и по щекам с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И всё. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он — так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и дерева, и яблоки, и змия,
и ту беду, Бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернется через полтораста лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но Божовым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьянку купит. Он — шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:

В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала — гения,
вышло — шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой — невидаль.
Стражка, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьянкой!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Люч-ия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой —
но некогда в российское село —
ура, ура! — шут прибыл итальянский.

(А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику не снись,
так властен в нём зов твоего соблазна,
так влажен образ твой между ресниц.
что он — о, ужас! — в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведет меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,
мужчин и женщин стольких утруждать
рожденьем предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли? — всё игра орла и решки, —
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я — тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать не мной,
а кем-то, был мне гнусный пропуск выдан, —
всё ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей
сулили жизнь, безжизнем истомили
и бросили на произвол теней
в домарковом, нематерьальном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.)

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж — пускай он по задворкам ходит,
старьё берёт или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шел, черно кося зрачком,
большой ноздрёй принюхиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —
его меньшой сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валей будет отцом Ахата.

Ахатовой мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усеченной полумглой зрачка
все ж выразить открытый взор славянства.

Вольное изложение татарской песни:

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен.
Как тесно облекли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших,
я, как птиц, целовал на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле — пахарь, а в воинстве — воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых — прав навеки, кто волен,
средь умерших — бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в ее ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясет бородой шурале.

5

Меж тем шарманщик странно поражен
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножон,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая ей так была к лицу
и за которую ей всё прощалось.

А далее всё шло само собой:
сближались лица, упадали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

6

О, старина, начало той семьи —
две барышни, чья маленькая повесть
печальная осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,
то ль этой жизни мертвенная скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть
над вашей красотою колдовала!

Шарманкой деда вас не укорить,
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую — Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скучо да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

«Справка выдана в том...»
О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный.
И в тон
там, внизу, голосят голоски клавесин.

О сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.
Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.

О Наташа, сестра, мне бы лёд так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вокруг себя он вращает людей, города.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в малом горле.
Но ныне беда —
позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волненье. Что там? Выстрел. Мешанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьёзной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечереющего века —

мерцает лбом тщеславный гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе Вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведет себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:
– Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зрения.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творенья.

Всё для него: ему назначен мёд
земных растений, труд ему угоден.
Но всё ж он бездыханен, слеп и мёртв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый Богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою горя
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вокруг пушкинского горла.

Но всё же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его
желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

— Всем, кто бунты разжигал, —
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жиdam,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал, —
всем отвечу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов, —
вольнодумцев неприятных,

а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой порадую
и засов задвину сам.

В чём клянусь верностью Государю-императору
и здоровьем милых дам.

О, распущенность природы!
Дети в ней — и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
всё кричит, имеет цвет.
Слава Богу, власть жандарма
всё, что есть, сведет на нет.

(*Примечание автора:*

Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.
Никто на похороны
копеечки не дал.)

— Знают люди, знают дети:
я — бессмертен. Я — жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

Как не дам идти дождям,
 как не дам, чтобы в народе
 помышляли о свободе,
 как не дам стоять садам
 в бело-розовом восходе...

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
 повелевают вечность и мгновенность —
 земле лететь, вершить глубокий вздох
 и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведет себя земля
 уже в пределах нового столетья,
 и в май маёвок бабушка моя
 несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит,
 и плечики на что идут войною?
 Над нею вновь смыкается вердикт:
 «Виновна ли?» — «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
 она вкусила пыль дорог протяжных,
 переступала из тюрьмы в тюрьму,
 привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
 в два солнышка закатится чахотка.
 Но есть все основания считать:
 она грустит, а всё же ждёт чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстился,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг — мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

Всё ждет. И ей — то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
Ей всё нужней, всё тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребёнка.

9

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоем повороте мгновенном
электричеством бьёт по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рёв сильных широт
отворённой гортани!
Как в красных
и предельных объёмах шаров —
тесно воздуху в трёх этих гласных.

Грянь же, грянь, новорожденный крик
той Свободы! Навеки и разом —
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.

Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, —
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звёзд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже всё ближе, всё верней
расчёт, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Всё непременным чередом идёт,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолёт,
предсылая небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворешник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших

ей предстоит удача и печаль.

А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я — скоро. Но покуда нет меня.
Я — где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат — и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приёмной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом — и предстать в ее проёме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я — вот она,
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.
Сейчас расхохочусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалиюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
ловить губами воздух, словно грозь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добываются,
с моим волненьем среди тех кулис,
в потёмках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
еще не сбылся в лёгких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
суроно излучаемой галёркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?

О, перейти, превозмогая боль,
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотою труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захохотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей ее, в ней погребённых.
Вершил всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребёнок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас — дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:

О нечто, крошка, пустота,
еще не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я — умник, много лет проживший, —

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься — что же, в том
всё ж есть своё благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утоплению.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
всё выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там — во тьме пустой,
где нет тебе ни слёз, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

(Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой означен пульс,
прям позвоночник, как антenna.

Но для чего же мне во вред
ему пройти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
свою малой худобою?

Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьет
один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Всё наглей, всё дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелою с тонкою спиной.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!)

— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь, да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра —
не стать. И не принять лице,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец! Но, средь всех затей,
любой наш год — утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одёжек.

И в их великий и всемирный рёв,
захлёбом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым остриём,
вонзился мой, ожегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом — воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?
Я не знаю,
И не знаю: я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.
Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.
Написала всё это Ахмадулина

Белла Ахатовна.

Год рождения — 1937. Место рождения —
город Москва.

1963

УРОКИ МУЗЫКИ

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя — как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лёд глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под Богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)

Не ладили две равных темноты:
рояль и ты — два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
теряя иноязычие друг друга.

Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты — две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до-диез
мизинец свой не окунёт союзник.

А ты — одна. Тебе — подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровоточенье звука.

Марина, до! До — детства, до — судьбы,
до — ре, до — речи, до — всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.

Марина, это всё — для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я — как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да — плачу.

Октябрь 1963

* * *

Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растенья,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до роженья.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный Бог,
имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка Бога,
что прядь со лба — чтобы легче целовать —
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

1964

В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА

Впасть в обморок беспамятства, как плод,
уснувший тихо средь ветвей и грядок,
не сознавать свою живую плоть,
ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.
В нём — мышцы влаги, красота пигмента,
то тех, то этих действий толчяя.
Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравою детей,
не совладаешь со своим же телом,
не предусмотришь всех его затей,
не расплетаешь его переплетений.

И так надоедает под конец
в себя смотреть, как в пациента лекарь,
всё время слышать треск своих сердец
и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,
вот отвернусь, но любопытно глазу.
Так музыка на верхнем этаже
мешает и заманивает сразу.

В глухи, в уединении моем,
под снегом, вырастающим на кровле,
живу одна и будто бы вдвоем –
со вздохом в лёгких, с удареньем крови.

То улыбнусь, то пискнет голос мой,
то бьется пульс, как бабочка в ладони.
Ну, слава Богу, думаю, живой
остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,
мой организм, живой зверёк природы,
верши, верши простую жизнь свою,
как солнышко, как лес, как огороды.

И впредь играй, не ведай немоты!
В глубоком одиночестве, зимою,
я всласть повеселюсь средь пустоты,
тесно и шумно населенной мною.

1964

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шёпоты твои
мне на ухо нашепчешь и утешишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуятом.

Лишь черный зонт в моих руках гремит,
живой, упругий мускул в нём напрягся.
То, что тебя покинуть норовит, —
пускай покинет, что держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом дому, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом дому?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершён,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок.
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба
и потому — с доверием и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы — он и я —
живут тихонько, песенки слагая.

Итак — я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою — он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они всё там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
ещё живёт всей свежестью размаха,
где малый камень с легкостью вместил
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моём мозгу и чернотой меж век,
всё плачущей над маленьким тобою?

И в этой, Богом замкнутой судьбе,
в твоей высокой муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где — только-то! — через четыре года
сомкнется над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отdam,
и ты спасён уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.

1964

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ

Зачем? — да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья, —
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрустала больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нём с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец, мудростью холодной,
вникал в значенье люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоска одной,
в былых балах утраченной подвески,
на грех ее обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была ее ладони
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть — средь сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха и цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложения, —
так требует предмет изображенья,
и ты бежишь, как верный пёс на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — Спасите! — грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.
Я ринулась на зов, и для начала
сказала я: — Не плачь, моё дитя.

— Что вам угодно? — молвил антиквар. —
Здесь всё мертво и не способно к плачу. —
Он, всё еще надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.

Сведённые враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:

— Мне, ставшему открытой раной слуха,
угодно слышать всё, что я хочу.

— Ступайте прочь! — он гневно повторял.
Н вдруг, средь слабоумия сомнений,
в уме моём сверкнул случайно гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!

— Тот ларь? — Футляр. — Фонарь? — Футляр! — Фуляр?
— Помилуйте, футляр из черной кожи. —
Он бледен стал и закричал: — О Боже!
Всё, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.

— Как это мило с вашей стороны, —
сказала я, — я не люблю пластмассы.
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.
Вот медальон, и в нём портрет ребёнка.
Минувший век. Изящная работа.
И всё это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с лицом больным.
 Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
 Гроза в июне. Воспаленье в лёгком.
 И тьма небес, закрывшихся за ним...

— Мне горестей своих не занимать,
 а вы хотите мне вручить причину
 оплакивать всю жизнь его кончину
 и в горе обезумевшую мать?

— Тогда сервис на двадцать шесть персон! —
 воскликнул он, надеждой озарённый. —
 В нём сто предметов ценности огромной.
 Берите даром — и вопрос решен.

— Какая щедрость и какой сюрприз!
 Но двадцать пять моих гостей возможных
 всегда в гостях, в бегах неосторожных.
 Со мной одной соскучится сервис.

Как сто предметов я могу развлечь?
 Помилуй Бог, мне не по силам это.
 Нет, я ценю единственность предмета,
 вы знаете, о чём веду я речь.

— Как я устал! — промолвил антиквар. —
 Мне двести лет. Моя душа истлела.
 Берите всё! Мне всё осточертело!
 Пусть всё мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльце
 из мглы сеней, на долю из темницы
 явился свет, и опалил ресницы,
 и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте, —
ожегшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.

Там — соблазнить ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и всё. Стрельба затихла,
и в небе то ли Бог, то ль облака.

— Я молод был сто тридцать лет назад, —
проговорился антиквар печальный. —
Сквозь зелень лиц, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил ее не первый год,
целуя воздух и каменья сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незваный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых.
Но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Всё вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
 Шкаф отвечал разбитою посудой.
 Повеяло палёным и простудой.
 Свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,
 склонившись к ней, перемешавшись разом,
 он всем опасным африканским рабством
 потупился, как укрощенный конь.

Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.
 Хоть ростом скромен, и на том спасибо.
 — Вы думаете? — так она спросила. —
 Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостили, — весь кротость, доброта, —
 любой совет считал себе приказом.
 А уезжая, вольно пыхнул глазом
 и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намёк
 в лице ее, в его простом порядке.
 Над непосильным подвигом разгадки
 трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла
 всплыvala в ней незрячая улыбка,
 она пугалась, будто бы ошибка
 лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ,
 Я сватался. Она мне отказалa.
 Не изменив намерений нималo,
 я сватался второй и третий раз.

В столетье том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,
толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж Богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,
что всё-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —
сказала я, — хоть не виновны вы.

Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки.

Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, —
сказала я, — мне лишь его и жаль.

А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:
— Всё это ложь, изложенная длинно, —
отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.

Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары,
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моём дому!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.

1964

ЗИМНЯЯ ЗАМКНУТОСТЬ

Булату Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занёс мою крышу еще в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например — я зерно моим птицам несла.
«Можно ль выйти наружу?» — спросила. «Нельзя», —
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый гость.
Он прошел через стенку насквозь, словно гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же еще оставалось ему,
коль в дому, замурожанном в снежную тьму
не осталась для входа ни двери, ни щели.

Странный гость — он в гостях не гостили, а царили.
 Он огнём исцелил свой промокший цилиндр,
 из-за пазухи выпустил свинку морскую
 и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом
 я ушибся, когда проходил напролом
 в этот дом, где теперь простудиться рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
 Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —
 вот мой маленький юг среди выуг спрavedливых.
 Что касается бедной царевны морей —
 ей давно приготовлен любовью моей
 плод капусты, взращенный в нездешних заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте, мадам,
 что я склонен к слезам, но не склонны к следам
 мои ноги промокшие. Весь я — загадка!»
 Я ему объяснила, что я не педант
 и за музыкой я не хожу по пятам,
 чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне не нравится тон
 ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
 Очень плохи дела ваших духа и плоти!
 Потому без стыда я явился сюда,
 что мне ведома бедная ваша судьба».
 Я спросила его: «Почему вы не пьете?»

Странный гость не побрезговал выпить вина.
 Опрометчивость уст его речи свела
 лишь к ошибкам, улыбкам и добруму плачу:
 «Протяжение спора угодно душе!
 Вы — дитя мое, баловень и протеже.
 Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.

Ведь не зря вещий зверь чистой шерстью белел —
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утешу мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злому сиротству сестра?
Как остра эта грусть — озираться со сна
средь стихии чужой, а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном — благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю, — сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пёс мой взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась — а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моём разуме свищет».

Странный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьет в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла —
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны теперь». В это время открылась закрытая дверь. Снег всё падал и падал, не зная убытка. Сколь вошедшего облик был смел и пригож! И влекла петербургская кожа калош след — лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет, как во мраке лица серебрился зрачок, как был рус африканец и смугл россиянин? Я подумала — скоро конец февралю — и сказала вошедшему: «Радость! Люблю! Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!»

1965

НОЧЬ

Андрею Смирнову

Уже рассвет темнеет с трёх сторон,
а всё руке недостает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затеять ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он всё ж не счел достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна малость —
нарушить этой ночи безымянность
и всё, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,
его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль — под пыткой немоты
всё ж не признаться ни единственным словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, средь снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне Бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
перед ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

* * *

Последний день живу я в странном доме,
чужом, как все дома, где я жила.
Загнав зрачки в укрытие ладони,
прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли — беспечность совершенства.
Бела бумага.
Знаю, что должна
Блаженствовать я в этот час блаженства.
Но вновь молчит и бедствует душа.

1965

СЛОВО

«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
vas любит ямб, и жизнь к вам благосклонна» —
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потёмках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь — в Перми живет ребёнок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермию,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребёнок этот слово говорит.

Как говорит ребёнок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погружённой в темноту,

была такая чистота проёма,
чтоб уместить во всей красе объёма
всезнающего слова полноту?

О нет, во мне — то всхлип, то хрип, и снова
насущный шум, занявший место слова

там, в лёгких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.
В безмолвие, как в землю, погребённой,
мне странно знать, что есть в Перми ребёнок,
который слово выговорить мог.

1965

НЕМОТА

Кто же был так силен и умён?
Кто мой голос из горла увёл?
Не умеет заплакать о нём
рана черная в горле моём.

Сколь достойны любви и хвалы,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады — словари.

— О, воспой! — умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Задыхаюсь, и дохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Вдохновенье — чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасет ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!

И во всё, что воспеть тороплюсь,
воплощусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.

1966

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете — но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка —
другое что-то. Только что? — забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

1966

СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? — неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далёкий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревах, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья, —
бери себе другое — и живи.

Ошибкой зренья, заблужденьем духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не быватъ.

Но коль дано их голосам беспечным
 стать тишиною неба и воды, —
 чьи пальчики по клавишам лепечут? —
 Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,
 тот медленный, затеянный людьми,
 старинный вальс, старинная примета
 чужой печали и чужой любви?

Еще возможно для ума и слуха
 вести игру, где действуют река,
 пустое поле, дерево, старуха,
 деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка
 блуждает там, в беспамятстве, вдали,
 в той родине, чья странная ошибка
 даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок
 трезвеет, рыщет, снова хочет знать
 живых вещей отчетливый рисунок,
 мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
 я слышу, как на диком языке
 мне шлет своё проклятие транзистор,
 зажатый в непреклонном кулаке.

* * *

Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведению мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача?

Две бессмыслицы — мёртв и мертвa,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.

И усилием двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?
Без прощения, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.

1966

ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега
блестать и стыть с прилежностью металла,
пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,
пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
угодной насекомым и растеньям, —
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледоколов, конькобежцев
он гнев весны претерпевал один,
став жертвой ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,
как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?
 То ль сильный дух велел искать исхода,
 то ль слабость щитовидной железы
 выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
 владеют им. Но говорят преданья,
 что, ринувшись на поиски беды, —
 как выгоды, он возжелал страданья.

Он закричал: — Грешна моя судьба!
 Не гений я! И, стало быть, впустую,
 гордясь огромной выпуклостью лба,
 лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
 Он говорил в отчаянной отваге:
 — О Господи! Твой худший ученик,
 я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
 Он всё отринул, что грозит блаженством.
 Желал он мукой обострить свой ум,
 побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!
 Гнушаясь их красою бесполезной,
 вбивал он алкоголь и никотин
 в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
 сказав: — Как страшно просыпаться утром!
 Как жжется этот раскалённый ад,
 который именуется уютом!

Он жил в чужом дому, в чужом саду, —
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытъя
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета
и понимал, что это — гонорар
за представленье: странности поэта.

Ему за то и подают обед,
который он с охотою съедает,
что гостья, умница, искусствовед,
имеет право молвить: — Он страдает!

И он страдал. Об остриё угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрёл достоинства ума
и не изведал истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,
он клял дурного мозга неприличье,
и высоко над ним плыл Пастернак
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек
в проступке суэты и нетерпенья.
Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в чайных и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.
И, наконец, он головой поник
и так сказал (вернее, я сказала):

— Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна — не много и не мало:
всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чём же смысл и польза этих мук,
привнесших в кожу белый шрам ожога?

Ужели в том, что мимолетный звук
мне явится, и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.

1967

* * *

A. N. Корсаковой

Весной, весной, в ее начале,
я опечалившись жила.
Но там, во мгле моей печали,
о, как я счастлива была,

когда в моем дому любимом
и меж любимыми людьми
плыл в небеса опасным дымом
избыток боли и любви.

Кем приходились мы друг другу,
никто не знал, и всё равно —
нам, словно замкнутому кругу,
терпеть единство суждено.

И ты, прекрасная собака,
ты тоже здесь, твой долг высок
в том братстве, где собрат собрата
терзал и пестовал как мог.

Но в этом трагедийном действе
былых и будущих утрат
свершался, словно сон о детстве,
спасающий меня антракт,

когда к обеду накрывали,
и жизнь моя была проста,
и Александры Николавны
являлась странность и краса.

Когда я на нее глядела,
я думала: не зря, о, нет,
а для таинственного дела
мы рождены на белый свет.

Не бесполезны наши муки,
и выгоды не сосчитать,
затем, что знают наши руки,
как холст и краски сочетать.

Не зря обед, прервавший беды,
готов и пахнет, и твердят
всё губы детские обеты
и яства детские едят.

Не зря средь праздника иль казни,
то огненны, то вдруг черны,
несчастны мы или прекрасны,
и к этому обречены.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Всё началось далёкою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха — непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить ее, кому?
Полюбит ли мышиный сброд умишек ·
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?

И тот изящный звездочет искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока еще ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незваная звезда,
чей голосок, нечаянно, могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют ее — меж грязью и меж льдом!
 Но в граде чернокаменном, голодном,
 что делать с этим неуместным лбом?
 Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума
 тоску и непомерность превосходства,
 она насквозь минует терема
 всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
 жестокосердно примирится с горем,
 с избытком рокового мастерства —
 во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
 Ты гнал ее, как принято, как надо,
 но мрак твоих обоев и белил
 еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,
 с надменностью ты целовал ей руки,
 но всё же был лишь захолустьем крыш,
 провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
 с непревзойдённым бедствием столицы,
 где рыщет Марс над плесенью воды,
 тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
 чернеет двор последнего страданья,
 где так она нища и голодна,
 как в высшем средоточье мирозданья.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге, пред прочею землёю.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлёю.

Всего-то было — горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час — не больше, чем строка:
всё тот же труд меж горлом и рукою.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком — красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты — сильное чудовище, Марина.

1967

КЛЯНУСЬ

Тем летним снимком на крыльце чужом
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящем из дома. Одета

в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбыв, допев
труд лошадиный голода и горя.

Тем снимком. Слабым остиём локтей
ребенка с удивленною улыбкой,
которой смерть влечёт к себе детей
и украшает их черты уликой.

Тяжелой болью памяти к тебе,
когда, хлебая безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашивала горло.

Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты — чужое, ты — нельзяя,
ты — Богово, тебя у Бога мало.

Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.

Возлюбленным тобою не к добру
вседобрый африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детвиорою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки, —
клянусь убить елабугу твою,
Елабугой твоей, чтоб спали внуки,

старухи будут их страшать в ночи,
что нет ее, что нет ее, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придёт елабуга слепая».

О, как она всей пуганицей ног
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальца ее без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей — и продержать подольше.
Детёнышней ее зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининого смертного бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня елабуга клянется.

1968

ОПИСАНИЕ ОБЕДА

Как долго я не высыпалась,
писала медленно, да зря.
Прощай, моя высокопарность!
Привет, любезные друзья!

Да здравствует любовь и легкость!
А то всю ночь в дыму сижу,
и тяжко тащится мой локоть,
строку влача, словно баржу.

А утром, свет опережая,
всплывает в глубине окна
лицо моё, словно чужая
предсмертно белая луна.

Не мил мне чистый снег на крышах,
мне тяжело мое чело,
и всё за тем, чтоб вещий критик
не понял в этом ничего.

Ну нет, теперь беру тетрадку
и, выбравши любой предлог,
описываю по порядку
всё, что мне в голову придет.

Я пред бумагой не робею
и опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед.

Он обещал мне, что наука,
известная его уму,
откроет мне, какая мука
угодна сердцу моему.

С улыбкой грусти и привета
открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед.

Пока с меня пальто снимала
их просвещенная семья,
ждала я знака и сигнала,
чтобы понять, при чем здесь я.

Но, размышляя мимолётно,
я поняла мою вину:
что ж за обед без рифмоплёта
и мебели под старину?

Всё так и было: стол накрытый
дышил свечами, цвел паркет,
и чужеземец именитый
молчал, покуривая «кент».

Литературой мы дышали,
когда хозяин вёл нас в зал
и говорил о Мандельштаме.
Цветаеву он также знал.

Он оценил их одаренность,
и, некрасива, но умна,
познаний тяжкую огромность
делила с ним его жена.

Я думала: Господь вседобрый!
Прости мне разум, полный тьмы,
вели, чтобы соблазн съедобный
отвлек от мыслей их умы.

Скажи им, что пора обедать,
вели им хоть на час забыть
о том, чем им так сладко ведать,
о том, чем мне так страшно быть.

В прощенье мне теплом собрата
повеяло, и со двора
вошла прекрасная собака
с душой, исполненной добра.

Затем мы занялись обедом.
Я и хозяин пили ром, —
нет, я пила, он этим ведал, —
и всё же разразился гром.

Он знал: коль ложь не бестолкова,
она не осквернит уста,
я знала: за лукавство слова
наказывает немота.

Он, сокрушаясь бесполезно,
стал разум мой учить уму,
и я ответила любезно:
— Потом, мой друг, когда умру...

Мы помирились в воскресенье.

— У нас обед. А что у вас?

— А у меня стихотворенье.

Оно написано как раз.

1967

* * *

Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба —
зачем он так от гения свободен?
Сегодня, став взрослее и трезвой,
хочу обедать посреди друзей —
лишь их привет мне сладок и угоден.
Мне снился сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова.
Как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,
я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твёрдо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон

на площади Восстания в полшестого.
 Я долго жду и вижу жизнь людей,
 которую прибоем площадей
 выносит вдруг на мой пустынный остров.
 Так мне пришлось присвоить новость встреч,
 чужие тайны и чужую речь,
 борьбу локтей неведомых и острых.

Вошёл убийца в сером пиджаке.
 Убитый им сидел невдалеке.
 Я наблюдала странность их общенья.
 Промолвил первый:
 — Вот моя рука,
 но всё ж не пейте столько коньяка. —
 И встал второй и попросил прощенья.
 Я у того, кто встал, спросила:
 — Вы
 однажды не сносили головы,
 неужто с вами что-нибудь случится? —
 Он мне сказал:
 — Я узник прежних уз.
 Дитя моё, я, как тогда, боюсь, —
 не я ему, он мне ночами снится.

Я поняла: я быть одна боюсь.
 Друзья мои, прекрасен наш союз!
 О, смируйтесь, хоть вы не обещали.
 Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
 заточена, словно мигрен во лбу.
 Друзья мои, я требую пощады!

И всё ж, пока слагать стихи смогу,
я вот как вам солгу иль не солгу:
они пришли, не ожидая зова,
сказали мне: — Спешат твои часы. —
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.

1967

* * *

Так дурно жить, как я вчера жила, —
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу
и пошлости нетрезвая жара
свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведенью в умах,
а вожделенной притчей во языцах.

Довольствоваться роскошью беды —
в азартном и злорадном нераденье
следить за увяданием звезды,
втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,
понурить шею среди пекл безводных,
от скучных скверов отвращать лицо,
не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:
без тех, без лучших мыкалась по свету,
а без себя? Не велика печаль!
Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин,
и снова выжить, как это ни сложно,
под доблестной защитою мужчин,
что и в невесты братъ неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,
но хитрой слепотою дальновидной
надеяться, что будет ночь в саду
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,
чьей выгоде мое спасенье сладко,
коль мне дано по окончанье дня
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река
готовы выдать тайну вековую,
и с первобытной меткостью рука
привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша
спешит служить и жертвовать длиною.
И так чиста суровая душа,
словно сейчас излучена луною.

Терзая зрењем небо и леса,
всему чужой, иноязыкий идол,
царю во тьме огромностью лица,
которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,
пред новым днем не знаю сожаленья
и медленно стираю прядь со лба
для пущего удобства размышленья.

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Евгений Семёнович Гинзбург

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наития,
заведомо безнравственно дитя,
рождённое вблизи кровопролитья.

В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.

Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козлёнок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твоё цветочным млечом меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкусает дух гортани пресеченной.

Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далеких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для лёгких.

Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растянут незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нём взойдет отрава?
Отрадой — умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, —
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.

1967

* * *

Памяти Осипа Мандельштама

В том времени, где и злодей –
лишь заурядный житель улиц,
как грозно хрупок иудей,
в ком Русь и музыка очнулись.

Вступленье: ломкий силуэт,
повинный в грациозном форсе.
Начало века. Младость лет.
Сырое лето в Гельсингфорсе.

Та — Бог иль барышня? Мольба —
чрез сотни вёрст любви нечёткой.
Любуется! И гений лба
застенчиво завешен чёлкой.

Но век желает пировать!
Измученный, он ждет предлога —
и Петербургу Петроград
оставит лишь предсмертье Блока.

Знал и сказал, что будет знак
и век падет ему на плечи.
Что может он? Он нищ и наг
пред чудом им свершенной речи.

Гортань, затеявшая речь
неслыханную, — так открыта.
Довольно, чтоб ее пресечь,
и меньшего усердья быта.

Ему — особенный почёт,
двоюкое злорадство неба:
певец, снабжённый кляпом в рот,
и лакомка, лишенный хлеба.

Из мемуаров: «Мандельштам
любил пирожные». Я рада
узнать об этом. Но дышать —
не хочется, да и не надо.

Так значит, пребывать творцом,
за спину заломившим руки,
и безымянным мертвецом
всё ж недостаточно для муки?

И в смерти надо знать беду
той, не утихшей ни однажды,
беспечной, выжившей в аду,
неутолимой детской жажды?

В моём кошмаре, в том раю,
где жив он, где его я прячу,
он сыт! А я его кормлю
огромной сладостью. И плачу.

ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

Юрию Васильеву

Итог увяданья подводит октябрь.
Природа вокруг тяжела и серьезна.
В час осени крайний — так скучно локтям
опять ушибаться об угол сиротства.
Соседской четы непомерный визит
всё длится, и я, всей душой утомляясь,
ни слова не вымолвлю — в горле висит
какая-то глухонемая туманность.
В час осени крайний — огонь погасить
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали меня погостить
в дому у художника, там, за Таганкой.

И вот, аспирином задобрав недуг,
напялив калоши, — скорее, скорее
туда, где, румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.
О милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и вёдер,
играет свирель и двух малых детей
печальный топочет вокруг хороводик.
Два детские лица умудрены

улыбкой такою усталой и вечной,
 как будто они в мирозданье должны
 нестись и описывать круг бесконечный.
 Как будто творится века напролет
 всё это: заоблачный лепет свирели
 и маленьких тел одинокий полёт
 над прочностью мира — во мгле акварели.
 И я, притаившись в тени голубой,
 застыв перед тем невеселым весельем,
 смотрю на соровый их танец, на бой
 младенческих мышц с тяготением вселенным.

Слабею, впадаю в смятенье невежд,
 когда, воссияв над трубою подзорной,
 их в обморок вводит избыток небес,
 терзая рассудок тоской тошнотворной.
 Но полно! И я появляюсь в дверях,
 недаром сюда я брела и спешила.
 О счастье, что кто-то так радостно рад,
 рад так беспредельно и так беспрчинно!
 Явленью моих одичавших локтей
 художник так рад, и свирель его рада,
 и щедрые ясные лица детей
 даруют мне синее солнышко взгляда.
 И входит, подходит та, милая, та,
 простая, как холст, не насыщенный грунтом.
 Но кроткого, смиренного лба простота
 пугает предчувствием сложным и грустным.
 О скромность холста, пока срок не пришел,
 невинность курка, пока пальцем не тронешь,
 звериный, до времени спящий прыжок,
 нацеленный в близь, где играет зверёныш.
 Как мускулы в ней высоко взведены,

когда первобытным следит исподлобьем
три тени родные, во тьму глубины
запущенные виражом бесподобным.
О, девочка цирка, хранящая дом!
Всё ж выдаст болезненно-звездная бледность —
во что ей обходится маленький вздох
над бездной внизу, означающей бедность.
Какие клинки покидают ножны,
какая неисповедимая доблесть
улыбкой соответствует гневу нужды,
каменья ее обращая в съедобность?

Как странно незрима она на свету,
как слабо затылок ее позолочен,
но неколебимо хранит прямоту
прозрачный, стеклянный ее позвоночник.

И радостно мне любоваться опять
лицом ее, облаком неочевидным,
и рученьку боязно в руку принять,
как тронуть скорлупку в гнезде соловьином.

И я говорю: — О, давайте скорей
кружиться в одной карусели отвесной,
подставив горячие лбы под свирель,
под ивовый дождь ее чистых отверстий.
Художник на бочке высокой сидит,
как Пан, в свою хитрую дудку дудит.
Давайте, давайте кружиться всегда,
и всё, что случится, — еще не беда,
ах, господи боже мой, вот вечеринка,
проносится около уха звезда,
под веко летит золотая соринка,

и кто мы такие, и что это вдруг
цветет акварели голубенький дух,
и глина краснеет, как толстый ребенок,
и пыль облетает с холстов погребенных,
и дивные рожи румяных картин
являются нам, когда мы захотим.
Проносимся! И посреди тишины
целуется красное с желтым и синим,
и все одиночества душ сплочены
в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два
и дольше, но дому еще не наскучить,
случайно узнать, что стоят дерева
под тяжестью белой, повисшей на сучьях,
с утра втихомолку собраться домой,
брести облегченно по улице снежной,
жить дома, пока не придет за тобой
любви и печали порыв центробежный.

1967

ДОЖДЬ И САД

В окне, как в чуждом букваре,
неграмотным я рыщу взглядом.
Я мало смыслю в декабре,
что выражен дождем и садом.

Где дождь, где сад — не различить.
Здесь свадьба двух стихий творится.
Их совпаденье разлучить
не властно зренье очевидца.

Так обнялись, что и ладонь
не вклинился! Им не заметен
медопролитный крах плодов,
расплющенных объятьем этим.

Весь сад в дожде! Весь дождь в саду!
Погибнут дождь и сад друг в друге,
оставив мне решать судьбу
зимы, явившейся на юге.

Как разниму я сад и дождь
для мимолетной щели светлой,
чтоб птицы маленькая дрожь
вместилась меж дождем и веткой?

Не говоря уже о том,
что в промежуток их раздора
мне б следовало втиснуть дом,
где я последний раз бездомна.

Душа желает и должна
два раза вытерпеть уладу:
страдать от сада и дождя
и сострадать дождю и саду.

Но дом при чем? В нём всё мертво!
Не я ли совершила это?
Приют сиротства моего
моим сиротством сжит со света.

Просила я беды благой,
но всё ж не той и не настолько,
чтоб выпрошенней мной бедой
чужие вышибало стекла.

Всё дождь и сад сведут на нет,
изгнав из своего объема
необязательный предмет
вцепившегося в землю дома.

И мне ли в нищей конуре
так возгордиться духом слабым,
чтобы препятствовать игре,
затеянной дождем и садом?

Не время ль уступить зиме,
с ее деревьями и мглою,
чужое место на земле,
некстати занятое мною?

* * *

Зима на юге. Далеко зашло
ее вниманье к моему побегу.
Мне — поделом. Но югу-то за что?
Он слишком юн, чтоб предаваться снегу.

Боюсь смотреть, как мучатся в саду
растений полумертвые подранки.
Гнев севера меня имел в виду,
я изменила долгу северянки.

Что оставалось выдумать уму?
Сил не было иметь температуру,
которая бездомью моему
не даст погибнуть спяну или сдуру.

Неосторожный беженец зимы,
под натиском ее несправедливым,
я отступала в теплый тыл земли,
пока земля не кончилась обрывом.

Прыжок мой, понукаемый бедой,
повис над морем — если море это:
волна, недавно бывшая водой,
имеет вид железного предмета.

Над розами творится суд в тиши,
мороз кончины им сулят прогнозы.
Не твой ли ямб, любовь моей души,
шалит, в морозы окуная розы?

Простите мне теплицы красоты!
Я удалюсь и всё это уложу.
Зачем влекла я в чуждые сады
судьбы своей громоздкую поклажу?

Мой ад — при мне, я за собой тяну
суму своей печали неказистой,
так альпинист, взмывая в тишину,
с припасом суеты берет транзистор.

И впрямь — так обнаглеть и занестись,
чтоб дисциплину климата нарушить!
Вернулась я, и обжигает кисть
обледеневшей варежки наручник.

Зима, меня на место водворив,
лишила юг опалы снегопада.
Сладчайшего цветения прилив
был возвращен воскресшим розам сада.

Январь со мной любезен, как весна.
Краса мурашек серебрит мне спину.
И, в сущности, я польщена весьма
влюбленностью зимы в мою ангину.

МОЛИТВА

Ты, населивший мглу Вселенной,
то явно видный, то едва,
огонь невнятный и нетленный
материи иль Божества.

Ты, ангелы или природа,
спасение или напасть,
что Ты ни есть, Твоя свобода,
твоя торжественная власть.

Ты, нечто, взявшее в надземность
начало света, снега, льда,
в Твою любовь, в Твою надменность,
в тебя вперяюсь болью лба.

Прости! Молитвой простодушной
я иссущила, извела
то место неба над подушкой,
где длилась и текла звезда.

Прошу Тебя, когда темнеет,
прошу, когда уже темно
и близко видеть не умеет
мной разожженное окно.

Не благодать Твою, не почесть —
судьба земли, оставь за мной
лишь этой комнаты непрочность,
ничтожную в судьбе земной.

Зачем с разбега бесприютства
влюбилась я в ее черты
всем разумом — до безрассудства,
всем зрением — до слепоты?

Кровать, два стула ненадежных,
свет лампы, сумерки, графин,
и вид на изгородь продолжен
красой невидимых равнин.

Творилась в этих бедных стенах,
оставшись тайною моей,
печаль пустых, благословенных,
от всех сокрытых зимних дней.

Здесь совмещались стол и локоть,
тетрадь ждала карандаша,
и, провожая мимолётность,
беспечно мучилась душа.

1968

СНЕГОПАД

Булату Окуджаве

Снегопад свое действие начал
и еще до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчествади кую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма дерев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не села, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложения,
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опрометчиво медлит душа.

1968

МЕТЕЛЬ

Борису Пастернаку

Февраль — любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скучность дачных мест.

И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берёт себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно выюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти деревья и дачи
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное теченье,
сосну, понутившую ствол,
в иное он вовлек значенье
и в драгоценность произвел.

Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрустив о нём,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.

1968

* * *

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединяется, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держалась на весу
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощущала только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновенный,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с Вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон —
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, взымев во времени былом
день нынешний, — за всё я отыграюсь.

Не наглость ли — при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне
и набело навек во мне очнутся.

Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и доблесть, —
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?

1968

ОПИСАНИЕ НОЧИ

Глубокий плюш казенного Эдема,
развязный грешник, я взяла себе
и хищно и неопытно владела
углом стола и лампой на столе.
На каторге таинственного дела
о вечности радел петух в селе,
и, пристальная, как монгол в седле,
всю эту ночь я за столом сидела.

Всю ночь в природе длился плач раздора
между луной и душами зверей,
впадали в длинный воздух коридора,
исторгнутые множеством дверей,
течения полуночного вздора,
что спит в умах людей и словарей,
и пререкались дактиль и хорей —
кто домовой и правит бредом дома.

Всяк спящий в доме был чему-то автор,
но ослабел для совершенья сна,
из глуби лбов, как из отверстых амфор,
рассеивалась спрятость ремесла.

Обожествляла влюблчивость метафор
простых вещей невзрачные тела.
И постояльца прежнего звала
его тоска, дичавшая за шкафом.

В чём важный смысл чудовищной затеи:
вникать в значенье света на столе,
участвовать, словно в насущном деле,
в судьбе светил, играющих в окне,
и выдержать такую силу в теле,
что тень его внушила шрам стене!
Не знаю. Но еще зачтется мне
бесславный подвиг сотворенья тени.

1968

ОПИСАНИЕ БОЛИ В СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ

Сплетенье солнечное — чушь!
Коварный ляпсус астрономов
рассеянных! Мне дик и чужд
недуг светил неосторожных.
Сплетались бы в сторонней мгле!
Но хворым силам мирозданья
угодно бедствовать во мне —
любимом месте их страданья.
Вместившись в спину и в живот,
вблизи наук, чья суть целебна,
болел и бредил небосвод
в ничтожном теле пациента.
Быть может, сдуру, сгоряча
я б умерла в том белом зале,
когда бы моего врача
Газель Евграфовна не звали.
— Газель Евграфовна! — изрек
белейший медик.
О удача!
Улыбки доблестный цветок,
возросший из расщелин плача.
Покуда стетоскоп глазел
на загнанную мышцу страха,

она любила Вас, Газель,
и Вашего отца Евграфа.
Тахикардический буйн
морзянкою предкатастрофной
производил всего лишь ямб,
влюбленный ямб четырехстопный.

Он с Вашим именем играл!
Не зря душа моя, как ваза,
изогнута (при чем Евграф!)
под сладкой тяжестью Кавказа.
Простите мне тоску и жуть,
мой хрупкий звездочёт, мой лекарь!
Я вам вселенной прихожусь —
чрезмерным множеством молекул.
Не утруждайте нежный ум
обзором тьмы нечистоплотной!
Не стоит бездна скорбных лун
печали Вашей мимолетной.
Трудов моих туманна цель,
но жизнь мою спасет от краха
воспоминанье про Газель,
дитя добрейшего Евграфа.
Судьба моя, за то всегда
благодарю твой добрый гений,
что смеха детская звезда
живет во мгле твоих трагедий.
Лишь в этом смысл — марать тетрадь,
печалиться в канун веселья,
и болью чуждых солнц хворать,
и умирать для их спасенья.

НЕ ПИСАТЬ О ГРОЗЕ

Беспорядок грозы в небесах!
Не писать! Даровать ей свободу —
невоспетою быть, нависать
над землей, принимающей воду!

Разве я ей сегодня судья,
чтоб хвалить ее: радость! услада! —
не по чину поставив себя
во главе потрясенного сада!

Разве я ее сплетник и враг,
чтобы, пристально выследив, наспех,
величавые лес и овраг
обсуждал фамильярный анапест?

Пусть хоть раз доведется уму
быть немым очевидцем природы,
не добавив ни слова к тому,
что объявлено в сводке погоды.

Что за труд — бег руки вдоль стола?
Это отдых, награда за муку,
когда темною тяжестью лба
упираешься в правую руку.

Пронеслось! Открываю глаза.
Забываю про руку: пусть пишет.
Навсегда разминулись — гроза
и влюбленный уродец эпитет.

Между тем удается руке
детским жестом придвигнуть тетрадку
и в любви, в беспокойстве, в тоске
всё, что есть, описать по порядку.

1968

СТРОКА

...Дорога, не скажу, куда...

Анна Ахматова

Пластинки глупенькое чудо,
проигрыватель — вздор какой,
и слышно, как невесть откуда,
из недр стеснённых, из-под спуда
корней, сопревших трав и хвой,
где закипает перегной,
вздымая пар до небосвода,
нет, глубже мыслимых глубин,
из пекла, где пекут рубин
и начинается природа, —
исторгнут, близится, и вот
донесся бас земли и вод,
которым молвлено протяжно,
как будто вовсе без труда,
так легкомысленно, так важно:
«...Дорога, не скажу куда...»
Меж нами так не говорят,
нет у людей такого знанья,
ни вымыслом, ни наугад
тому не подыскать названья,
что мы, в невежестве своем,
строкой бессмертной назовем.

СЕМЬЯ И БЫТ

Анекдоты

Сперва дитя явилось из потёмок
небытия.

В наш узкий круг щенок
был приглашён для счастья.
А котенок
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:
к нам шел сверчок, влага нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстряй педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице — мы отойдем и ждём.
Но всё ж и мы не так наги и сиры,
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь, вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам
мы возжигаем наш фонарь волшебный.
О смех! О лай! О скрип! О таарам!

Старейшина в беспечном хороводе.
вполне бесстрашном, если я жива,
проговорюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пёс. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя, всё больше молодое,
всё больше хочет жить и сострадать.

Давно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти —
подумало, дитя сказали: — Ёжик,
прости меня, за всё меня прости.

И впрямь — прости, любая жизнь живая!
Твою, в упор глядящую звезду
не подведу: смертельно убывая,
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витает, вырастая, наша стая,
блестая правом жить и ликовать,
блаженность и блаженство сочетая,
и всё это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.
Дитя, собака, бледный кот и я
идем во двор и там непревзойденно
свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она дается нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро «Аэропорт».

1968

ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне — я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
 чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжая чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой мою и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.

ЭТО Я...*E.YO. и B.M. Россельс*

Это я — в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа — это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
«Буря мглою...» и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы, —
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечая, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким лицом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушенье великому
слышу нечто, что меныше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку

слушать вечную, точно прибой,
безымянных вещей перекличку
с именующей вещи душой.

Это я — мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.

Словно дрожь между сердцем и сердцем,
есть меж словом и словом игра.

Дело лишь за бесхитростным средством
обвести ее вязью пера.

— Быть словам женихом и невестой! —
это я говорю и смеюсь.

Как священник в глухи деревенской,
я венчаю их тайный союз.

Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шелест и смех.

Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.

Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,
юной гончей мой почерк несется,
вот настиг — и озябла душа.

Это я проклинаю и плачу.

Смотрит в щели людская молва.

Мне с небес диктовали задачу —
я ее разрешить не смогла.

Я измучила упряжью шею.

Как другие плетут письмена —
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.

Как друг с другом прохожие схожи.

Нам пора, лишь подует зима,
на раздумья о детской одёже
обратить вдохновенье ума.
Это я — человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, покуда идет электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
слава Богу, не выпало мне
быть заслуженней или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моём и на их языке.

1968

РИСУНОК

Борису Мессереру

Рисую женщину в лиловом.
Какое благо — рисовать
и не уметь? А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпеньем новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням еловым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязный! Как он смел взглянуть
прилежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берёт,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?

В дому, ей чуждом и суровом,
родимая и вся в лиловом,
кем мне приходится она?
Неужто розовой, в лиловом,
столь не желавшей умирать, —
всё ж умереть?
А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?

1968

* * *

Прощай! Прощай! Со лба сотру
воспоминанье: нежный, влажный
сад, углубленный в красоту,
словно в занятье службой важной.

Прощай! Всё минет: сад и дом,
двух душ таинственные распри,
и медленный любовный вздох
той жимолости у террасы.

В саду у дома и в дому
внедрив многозначенье грусти,
внушила жимолость уму
невнятный помысел о Прусте.

Смотрели, как в огонь костра,
до сна в глазах, до муки дымной,
и созерцание куста
равнялось чтению книги дивной.

Меж наших двух сердец — туман
клубился! Жимолость и сырость,
и живопись, и сад, и Сван —
к единой муке относились.

То сад, то Сван являлись мне,
цилиндр с подкладкою зеленою
мне виделся, закат в Комбре
и голос бабушки влюбленной.

Прощай! Но сколько книг, дерев
нам вверили свою сохранность,
чтоб нашего прощанья гнев
поверг их в смерть и бездыханность.

Прощай! Мы, стало быть, из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.

1968

ВОСПОМИНАНИЕ О ЯЛТЕ

Булату Окуджаве

В тот день случился праздник на земле.
Для ликованья все ушли из дома,
оставив мне два фонаря во мгле
по сторонам глухого водоёма.

Еще и тем был сон воды храним,
что, намертво рождён из алебастра,
над ним то ль нетопырь, то ль херувим
улыбкой слабоумной улыбался.

Мы были с ним недальняя родня —
среди насмешек и неодобренья
он нежно передразнивал меня
значеньем губ и тщетностью паренья.

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,
неизлечимо и неугасимо
пульсировала бледная звезда,
чтоб звать суда и пропускать их мимо.

Любовью жегся и любви учил
вид полночи. Я заново дивилась
неистовству, с которым на мужчин
и женщин человечество делилось.

И в час, когда луна во всей красе
так припекала, что зрачок слезился,
мне так хотелось быть живой, как все,
иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.

В удобном сходстве с прочими людьми
не сводничать чернилам и бумаге,
а над великим пустяком любви
бесхитростно расплакаться в овраге.

Так я сидела — при звезде в окне,
при скорбной лампе, при цветке в стакане.
И безутешно ластилось ко мне
причастий шелестящих пресмыканье.

9 мая 1969

ПРЕРЕКАНИЕ С КРЫМОМ

Перед тем, как ступить на балкон,
я велю тебе, Богово чудо:
пребывай в отчужденье благом!
Не ищи моего пересуда.

Не вперяй в меня рай голубой,
постыдись этой детской уловки.
Я-то знаю твой кроткий разбой,
добывающий слово из глотки.

Мне случалось с тобой говорить,
проболтавшийся баловень пытоқ,
смертным выдохом ран горловых
я тебе поставляла эпитет.

Но довольно! Всесветлый объем
не таращь и предайся блаженству.
Хватит рыскать в рассудке моем
похвалы твоему совершенству.

Не упорствуй, не шарь в пустоте,
выпит мёд из таинственных амфор.
И по чину ль твоей красоте
примерять украшенье метафор?

Знает тот, кто в семь дней сотворил
семицветие белого света,
как голодным тщеславьем твоим
клянчишь ты подаяний поэта?

Прогоняю, страшаю, кляну,
выхожу на балкон. Озираюсь.
Вижу дерево, море, луну,
их беспамятство и безымянность.

Плачу, бедствую, гибну почти,
говорю: о, даруй мне пощаду, —
погуби меня, только прости! —
И откуда-то слышу: — Прощаю...

1969

* * *

Предутренний час драгоценный
спасите, свеча и тетрадь!
В предсмертных потёмках за сценой
мне выпадет нынче стоять.

Взмыть голой циркачкой под купол!
Но я лишь однажды не лгу:
бумаге молясь неподкупной
и пристальному потолку.

Насильно я петь не умею,
но буду же наверняка,
мучительно выпростав шею
из узкого воротника.

Какой бы мне жребий ни выпал,
никто мне не сможет помочь.
Я знаю, как грозен мой выбор,
когда восхожу на помост.

Погибну без вашей любови,
погибну больней и скорей,
коль вслушаюсь в ваши ладони,
сочту их заслугой своей.

О, только б хвалы не возжаждать,
вернуться в родной неуют,
не ведая — дивным иль страшным —
удел мой потом назовут.

Очнуться живою на свете,
где будут во все времена
одни лишь собаки и дети
бедней и свободней меня.

1960

ПОДРАЖАНИЕ

Грядущий день намечен был вчерне,
насущный день так подходил для пенья,
и четверо, достойных удивленья,
гребцов со мною плыли на челне.

На ненаглядность этих четверых
всё бы глядела до скончанья взгляда,
и ни о чем заботиться не надо:
душа вздохнет — и слово сотворит.

Нас пощадили небо и вода,
и, уцелев меж бездною и бездной,
для совершенья распри бесполезной
поплыли мы, не ведая — куда.

В молчании достигли мы земли,
до времени сохранные от смерти.
Но что-нибудь да умерло на свете,
когда на берег мы поврозь сошли.

Твои гребцы погибли, Арион.
Мои спаслись от этой лютой доли.
Но лоб склоню — и опалит ладони
сиротства высочайший ореол.

Всех вместе жаль, а на меня одну —
пускай падут и буря, и лавина.
Я дивным пенем не прельщу дельфина
и для спасенья уст не разомкну.

Зачем? Без них — ненадобно меня.
И проку нет в упрёках и обмолвках.
Жаль — челн погиб, и лишь в его обломках
нерасторжимы наши имена.

1960

* * *

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи, —
без них я не желала умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
всё прочее — блаженством я зову.

1960

* * *

Юрию Королёву

Собрались, завели разговор,
долго длились их важные речи.
Я смотрела на маленький двор,
чудом выживший в Замоскворечье.

Чтоб красу предыдущих времён
воздорить, а пока, исковеркав,
изнывал и бранился ремонт,
исцеляющий старую церковь.

Любоваться еще не пора:
купол слеп и весь вид не осанист,
но уже по каменьям двора
восхищенный бродил чужестранец.

Я сидела, смотрела в окно,
тосковала, что жить не умею.
Слово «скоросшиватель» влекло
разрыдаться над жизнью моей.

Как вблизи расторопной иглы,
с невредимой травою зеленою,
с бузиною, затмившей углы,
уцелел этот двор непреклонный?

Прорастание мха из камней
и хмельных маляров перебранка
становились надеждой моей,
ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен.
Посреди сорока сороков
не иссякла душа-колокольчик.

О запекшийся в сердце моём
и зазубренный мной без запинки
белокаменный свиток имен
Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камни, жива.
Дождь веков нас омыл и промаслил.
На клею золотого желтка
насозвал незапамятный мастер.

Как живущие эти дворы,
уцелею и я, может статься.
Ну а нет — так придут маляры.
А потом приведут чужестранца.

* * *

В той тоске, на какую способен
человек, озираясь с утра
в понедельник, зимою спросонок,
в том же месте судьбы, что вчера...

Он-то думал, что некий гроссмейстер,
населивший пустой небосвод,
его спящую душу заметит
и спасительно двинет вперед.

Но сторонняя мощь сновидений,
ход светил и раздор государств
не внесли никаких изменений
в череду его скучных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,
он способствует этим тому,
что, болевшая ночью в затылке,
мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью,
прежде матери, прежде отца,
оснащенный звездой и свирелью,
кто-то был и касался лица?

Чиркнул быстрым ожогом над бровью,
улыбнулся и скрылся вдали.
Прибежали на крик к изголовью —
и почтительно прочь отошли.

В понедельник, в потёмках рассвета,
лбом уставясь в осколок стекла,
видит он, что алмазная мета
зажила и быльём поросла.

...В той великой, с которою слада
не бывает, в тоске — на века,
я брела в направленье детсада
и дитя за собою влекла.

Розовело во мгле небосвода.
Возжигатель грядущего дня,
вождь метели, зачинщик восхода,
что за дело тебе до меня?

Мне ответствовал свет безмятежный
и указывал свет или смех,
что ещё молодою и нежной
я ступлю на блистающий снег,
что вблизи, за углом поворота,
ждет меня несказанный удел.
Полыхнуло во лбу моем что-то,
и прохожий мне вслед поглядел.

* * *

Андрею Вознесенскому

Ремесло наши души свело,
 заклеймило звездой голубою.
 Я любила значенье своё
 лишь в связи и в соседстве с тобою.

Несказанно была хороша
 только тем, что в первейшем сиротстве
 бескорыстно умела душа
 хлопотать о твоём превосходстве.

Про чело говорила твоё:
 я видала сама, как дымилось
 меж бровей золотое тавро,
 чьё значенье — Всевышняя милость.

А про лоб, что взошёл надо мной,
 говорила: не будет он лучшим!
 Не долеплен до пяди седьмой
 и до пряди седой не доучен.

Но в одном я тебя превзойду,
пересилю и перелукавлю!
В час расплаты за Божью звезду
я спрошу себе первую кару.

Осмелюсь и выпячу лоб,
похваляясь: мой дар — безусловен,
а второй — он не то чтобы плох,
он — меньшой, он ни в чём не виновен.

Так положено мне по уму,
так исполнено будет судьбою.
Только вот что. Когда я умру,
страшно думать, что будет с тобою.

1972

ПЕСЕНКА ДЛЯ БУЛАТА

Мой этот год — вдоль бездны путь.
И если я не умерла,
то потому, что кто-нибудь
всегда молился за меня.

Всё вкривь и вкося, всё невпопад,
мне страшен стал упрёк светил,
зато — вчера! Зато — Булат!
Зато — мне ключик подарил!

Да, да! Вчера, сюда вошёд,
Булат мне ключик подарил.
Мне этот ключик — для волшебств,
а я их подарю — другим.

Мне трудно быть не молодой
и знать, что старой — не бывать.
Зато — мой ключик золотой,
А подарил его Булат.

Слова из губ — как кровь в платок.
Зато навек, а не на миг.
Мой ключик больше золотой,
чем золото всех недр земных.

И всё теперь пойдет на лад,
я буду жить для слез, для рифм.
Не зря — вчера, не зря — Булат,
не зря мне ключик подарил!

1972

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Надежде Яковлевне Мандельштам

Замечаю, что жизнь не прочна
и прервется. Но как не заметить,
что не надо, пора не пришла
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было — страшусь и спешу:
есмь сегодня, а буду ли снова?
И на казнь посыпала свечу
ради тщетного смысла ночного.

Как умна — так никто не умен,
полагала. А снег осыпался.
И остался от этих времен
горб — натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им —
лишь скучая, но не сострадая,
и прощу: тот, кто молод, — любим.
А тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе
льнёт прилив незатейливых истин.
Способ совести избран уже
и теперь от меня не зависит.

Сам придет этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность...
Только старости недостает.
Остальное уже совершилось.

1972

* * *

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнёмте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведеньем двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывающего в себе... ау, любезный друг!..
сокрывающего, и пусть, с нас и того довольно.

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего событья.
Ау, любезный друг! Идёте ли? — Иду. —
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук
Арсеньевой. — Какой? — Столыпиной. — Ну, что же,
храни его Господь. Ау, любезный друг!
Далекий свет иль звук — чирк холодом по коже.

Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады,
душа не същет в них забвенья и блаженства.

1972

ЛЕРМОНТОВ И ДИТИЯ

Под сердцем, говорят. Не знаю. Не вполне.
Вдруг сердце вознеслось и взмыло надо мною,
сопутствовало мне стороннею луною,
и муки было в нём не боле, чем в луне.
Но — люди говорят, и я так говорю.
Иначе как сказать? Под сердцем — так под сердцем.
Уж сбылся листопад. Извечным этим средством
не пренебрёг октябрь, склоняясь к ноябрю.
Я всё одна была, иль были мы одни
с тем странником, чья жизнь всё больше оживала.
Совпали блажь ума и надобность журнала —
о Лермонтове я писала в эти дни.
Тот, кто отныне стал значением моим,
кормился ручейком невзрачным и целебным.
Мне снились по ночам Васильчиков и Глебов.
Мой исподлобный взгляд присматривался к ним.
Был город истомлен бесснежным февралем,
но вскоре снег пошел, и снега стало много.
В тот день потупил взор невозмутимый Монго
пред пристальным моим волшебным фонарем.
Зима еще была сохранна и цела.
А там — уже июль, гроза и поединок.
Мой микроскоп увяз в двух неприглядных льдинах,
изъятых из глазниц лукавого царя.

Но некто рвался жить, выпрашивал: «Скорей!»
Томился взаперти и в сердцевине круга.
Успею ль, Боже мой, как брата и как друга,
благословить тебя, добрейший Шан-Гирей?
Всё спуталось во мне. И было всё равно —
что Лермонтов, что тот, кто восходил из мрака.

Я рукопись сдала, когда в сугробах марта
слабело и текло водою серебро.
Вновь близится декабрь к финалу своему.
Снег сыплется с дерев, пока дитя ликует.
Но иногда оно затихнет и тоскует,
не ведая: кого недостает ему.

1972

* * *

Что за мгновенье! Родное дитя
дальше от сердца, чем этот обычай:
красться к столу сквозь чащобу житья,
зренье возжечь и следить за добычей.
От неусыпной засады моей
не упасется ни то и ни это.
Пав неминуемой рысью с ветвей,
вцепится слово в загривок предмета.
Эй, в небесах! Как ты любишь меня!
И, заточенный в чернильную склянку,
образ вселенной глядит из темна,
мучая меня, как сокровище скрягу.
Так говорю я и знаю, что лгу.
Необитаема высь надо мною.
Гаснут два фосфорных пекла во лбу.
Лютый младенец кричит за стеною.
Спал, присосавшись к сладчайшему сну,
ухом не вёл, а почуял измену.
Всё — лишь ему, ничего — ремеслу,
быть по сему, и перечить не смею.
Мне — только маленькой гибели звук:
это чернил перезревшая влага
вышибла пробку. Бессмысленный круг
букв нерожденных приемлет бумага.

Властвуй, исчадие крови моей!
Если жива — значит, я недалече.
Что же, не хуже других матерей
я — погубившая детище речи.

Чем я плачу за улыбку твою,
я любопытству людей не отвечу.
Лишь содрогнусь и глаза притворю,
если лицо мое в зеркале встречу.

1973

ВЗОЙТИ НА СЦЕНУ

Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.
Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги,
и он умрет, как снег, и превратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О, кто-нибудь, приди и время растяни!

По грани роковой, по острию каната —
плясунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, как надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.

Искрепана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраню, его не посрамлю.

Когда же я очнусь от суетного риска
неведомо зачем сводить себя на нет,
но скажет кто-нибудь: она была артистка,
и скажет кто-нибудь: она была поэт.

Измучена гортань кровоточеньем речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, всё явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.

Я обращу в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу — но лишь на миг, на миг...

1973

* * *

Так, значит, как вы делаете, други?
Пораньше встав, пока темно-светло,
открыв тетрадь, перо берете в руки
и пишете? Как, только и всего?

Нет, у меня — всё хуже, всё иначе.
Свечу истрачу, взор сошлю в окно,
как второгодник, не решив задачи.
Меж тем в окне уже светло-темно.

Сначала — ночь отчаянья и бденья,
потом (вдруг нет?) — неуловимый звук.
Тут, впрочем, надо начинать с рожденья,
а мне сегодня лень и недосуг.

1973

* * *

Ни слова о любви! Но я о ней ни слова,
не водятся давно в гортани соловьи.
Там пламя посреди пустого небосклона,
но даже в ночь луны ни слова о любви!

Луну над головой держать я притерпелась
для пущего труда, для возбужденья дум.
Но в нынешней луне — бессмысленная прелесть,
и стелется Арбат пустыней белых дюн.

Лепечет о любви сестра-поэт-певунья —
вполглаза покошусь и усмехнусь вполрта.
Как зrimо возведен из толщи полнолуния
чертог для Божества, а дверь не заперта.

Как бедный Гоголь худ там, во главе бульвара,
и одинок вблизи вселенской полыни.
Столь длительной луны над миром не бывало,
сейчас она пройдет. Ни слова о любви!

Так долго я жила, что сердце притупилось,
но выжило в бою с невзгодой бытия,
и вновь свежим-свежа в нём чья-то власть и милость.
Те двое под луной — неужто ты и я?

ДОМ И ЛЕС

Этот дом увядает, как лес...
Но над лесом — присмотр небосвода,
и о лесе печется природа,
соблюдая его интерес.

Краткий обморок вечной судьбы —
спячка леса при будущем снеге.
Этот дом засыпает сильнее
и смертельней, чем знают дубы.

Лес — на время, а дом — навсегда.
В доме призрак — бездельник и нищий,
а у леса есть бодрый лесничий
там, где высшая мгла и звезда.

Так зачем наобум, наугад
всye связывать с осенью леса
то, что в доме разыграна пьеса
старомодная, как лиstopад?

В этом доме, отцветшем дотла,
жизнь былая жила и крепчала,
меж висков и в запястьях стучала,
молода и бессмертна была.

Книга мучила пристальный лоб,
сердце тяжко по сердцу томилось,
пекло совести грозно дымилось
и вперялось в ночной потолок.

В этом доме, неведомо чьем,
старых записей бледные главы
признаются, что хочется славы...
Ах, я знаю, что лес ни при чем!

Просто утром подуло с небес
и соринкою, втянутой глазом,
залетела в рассеянный разум
эта строчка про дом и про лес...

Истошился в дому домовой,
участь лешего — воля и нега.
Лес — ничей, только почвы и неба.
Этот дом — на мгновение — мой.

Любо мне возвратиться сюда
и отпраздновать нежно и скорбно
дивный миг, когда живы мы оба:
я — на время, а лес — навсегда.

1973

* * *

Сад еще не облетал,
только береза желтела.
«Вот уж и август настал», —
я написать захотела.

«Вот уж и август настал», —
много ль ума в этой строчке, —
мне ль разобраться? На сад
осень влияла всё строже.

И самодержец души
там, где исток звездопада,
повелевал: — Не пиши!
Августу славы не надо.

Слиткам последней жары
сыщешь эпитет не ты ли,
коль золотые шары,
видишь, и впрямь золотые.

Так моя осень текла.
Плод упадал переспелый.
Возле меня и стола
день угасал не воспетый.

В прелести действий земных
лишь тишина что-то значит.
Слишком развязно о них
бренное слово судачит.

Судя по хладу светил,
по багрецу перелеска,
Пушкин, октябрь наступил.
Сколько прохлады и блеска!

Лед поутру обметал
ночью налитые лужи.
«Вот уж и август настал», —
ах, не дописывать лучше.

Бедствую и не могу
следовать вещим капризам.
Но золотится в снегу
августа маленький призрак.

Затвердевает декабрь.
Весело при снегопаде
слышать, как вечный диктант
вдруг достигает тетради...

1973

* * *

Бьют часы, возвестившие осень:
тяжелее, чем в прошлом году,
ударяется яблоко о земль —
столько раз, сколько яблок в саду.

Этой музыкой, внятной и важной,
кто твердит, что часы не стоят?
Совершает поступок отважный,
но как будто бездействует сад.

Всё заметней в природе печальной
выраженье любви и родства,
словно ты — не свидетель случайный,
а виновник ее торжества.

1973

* * *

Опять сентябрь, как тьму времён назад,
и к вечеру мужает юный холод.
Я в таинствах подозреваю сад:
всё кажется — там кто-то есть и ходит.

Мне не страшней, а только веселей,
что призраком населена округа.
Я в доброте моих осенних дней
ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль
списать в тетрадь — с последнею росою
траву и воздух, в зримую спираль
закрученный неистовой осою.

И вот еще: вниманье чьих очей,
воспринятое некогда луною,
проделало обратный путь лучей
и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,
свободен с обожаньем иль укором
иных людей, иные времена
оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе
так мучат нас её пустые камни?
О, знаю я, кто пристальней, чем все,
ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив щёлку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролет мне припекает щёку.

1973

ДАЧНЫЙ РОМАН

Вот вам роман из жизни дачной.
Он начинался в октябре,
когда зимы кристалл невзрачный
мерцал при утренней заре.
И Тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
был зренья моего добычей
и пленником души моей.

Недавно, добрый и почтенный,
сосед мой умер, и вдова,
для совершенья жизни бренной,
уехала, а дом сдала.
Так появились брат с сестрою.
По вечерам в чужом окне
сияла кроткою звездою
их жизнь, неведомая мне.

В благовоспитанном соседстве
поврозь мы дождались зимы,
но, с тайным любопытством в сердце,
невольно сообщались мы.
Когда вблизи моей тетради
встречались солнце и сосна,

тропинкой, скрытой в снегопаде,
спешила к станции сестра.
Я полюбила тратить зренье
на этот мимолётный бег,
и длилась целое мгновенье
улыбка, свежая, как снег.

Брат был свободней и не должен
вставать, пока не встанет день.
«Кто он? — я думала. — Художник?»
А думать дальше было лень.
Всю зиму я жила привычкой
их лица видеть поутру
и знать, с какою электричкой
брат пустится встречать сестру.
Я наблюдала их проказы,
снежки, огни, когда темно,
и знала, что они прекрасны,
а кто они — не всё ль равно?
Я вглядывалась в них так остро,
как в глушь иноязычных книг,
и слаше явного знакомства
мне были вымыслы о них.
Их дней цветущие картины
растила я меж сонных век,
сослав их образы в куртины,
в заглохший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились — не тесно,
не участив случайность встреч.
Их лица были так чудесно
ясны, так благородна речь.
Мы сиживали в час заката
в саду, где липа и скамья.

Брат без сестры, сестра без брата,
как ими любовалась я!
Я шла домой и до рассвета
зрачок держала на луне.
Когда бы не несчастье это,
была б несчастна я вполне.

Тёк август. Двум моим соседям
прискутила его жара.
Пришли, и молвил брат: — Мы едем.
— Мы едем, — молвила сестра.

Простились мы — скорей степенно,
чем пылко. Выпили вина.
Они уехали. Стемнело.
Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:
«Коли прогневаетесь Вы,
я не страшусь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недальновидный,
я тронул на снегу Ваш след?
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился — еле видный,
доныне излучает свет
ладонь...» — с печалью деловитой
я поняла, что он — поэт,
и заскучала...
Тем не мене
отвыкшие скрипеть ступени
я поступью моей бужу,
когда в соседний дом хожу,

одна играю в свет и тени
и для таинственной затеи
часы зачем-то завожу
и долго за полночь сижу.
Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипце
зайдется ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.

Уж осень. Разве осень? Осень.
Вот свет. Вот сумерки легли.
— Но где ж роман? — читатель спросит. —
Здесь нет героя, нет любви!

Меж тем — всё есть! Окрест крепчает
октябрь, и это означает,
что Тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
идет дорогою обычной
на жадный зов свечи моей.
Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немеет сердце, и в костры
сгребают листья... Брат сестры,
прощай навеки! Ночью лунной
другой возлюбленный безумный,
чья поступь молодому льду
не тяжела, минует тьму
и к моему подходит дому.
Уж если говорить: люблю! —
то, разумеется, ему,
а не кому-нибудь другому.

Очнись, читатель любопытный!
Вскричи: — Как, намертво убитый
и прочный, точно лунный свет,
тебя он любит?! —
Вовсе нет.
Хочу соврать и не совру,
как ни мучительна мне правда.
Боюсь, что он влюблён в сестру
стихи слагающего брата.
Я влюблена, она любима,
вот вам сюжета грозный крен.
Ах, я не зря ее ловила
на робком сходстве с Анной Керн!
В час грустных наших посиделок
твёржу ему: — Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!
Коль Ты таков — во мглу веков
назад сошлю! —
Не отвечает
и думает: «Она стихов
не пишет часом?» — и скучает.

Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.

НОЧЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Сегодня, покуда вы спали, надеюсь,
как всадник в дозоре, во тьму я глядела.
Я знала, что поздно, куда же я денусь
от смерти на сцене, от бренного дела!

Безгрешно рукою водить вдоль бумаги.
Писать — это втайне молиться о ком-то.
Запеть напоказ — провиниться в обмане,
а мне не дано это и неохота.

И всё же для вас я удобство обмана.
Я знак, я намёк на былое, на Сороть,
как будто сохранны Марина и Анна
и нерасторжимы словесность и совесть.

В гортани моей, неумелой да чистой,
жил призвук старинного русского слова.
Я призрак двусмысленный и неказистый
поэтов, чья жизнь не затеется снова.

За это мне выпало нежности столько,
что будет смертельней, коль пуще и больше.
Сама по себе я немногого стою.
Я старый глагол в современной обложке.

О, только за то, что душа не лукава
и бодрствует, благословляя и мучась,
не выбирая, где милость, где кара,
на время мне посланы жизнь и живучесть.

Но что-то творится меж вами и мною,
меж мною и вами, меж всеми, кто живы.
Не проще ли нам обойтись тишиною,
чтоб губы остались свежи и не лживы?

Но коль невозможно, коль вам так угодно,
возьмите мой голос, мой голос последний!
Вовеки пребуду добра и свободна,
пока не уйду от вас сколько-то-летней...

1973

СНИМОК

Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода,
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
зашелкнута ловушкой снимка.

С тем — через «ять» — сырым и нежным
апрелем слившись воедино,
как в янтаре окаменевшем,
она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай
застанет на исходе века
 тот профиль нежно-угловатый,
 вовек сохранный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,
в чьем четком облике и лице
прочесть известие о даре
так просто, как названье книги.

Кто эту горестную мету,
оттиснутую без помарок,
и этот лоб, и чёлку эту
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?
Пожмет плечами, как угодно!
И выведет: «Оспедалетти.
Апрель двенадцатого года».

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пускай она допишет: «Анна
Ахматова» — и капнет точку.

1973

* * *

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.

Еще за то, что, стиснув створки сердца,
клад бытия не отдавал моллюск,
открыть и вынуть — вот простое средство
быть в жемчуге при свете бальных люстр.

Как будто мало ямба и хорея
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!

Капризы ваши, шеи, губы, щёки,
смесь чудную коварства и проказ —
я всё воспела, мы теперь в расчете,
последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал — поверит, что я жизнь мою,
всю напролёт, навытяжку стояла
пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Невмочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшего зверьё и детвору.

Наскучило чудовищем бесполым
быть, другом, братом, сводником, сестрой,
то враждовать, то нежничать с глаголом,
пред тем, как стать травою и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,
подстрочников и прочего труда
я не хочу! Я делаюсь богата,
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю, поступаясь талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом.
А что есть ямб — знать не хочу о том!

Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай!
Я скрою от незрячести твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я — я друг моих друзей.

Красавицы, ах, это всё неправда!
Я знаю вас — вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,
проноситесь, смеясь и лепеча.
Суть женственности вечно золотая
всех, кто поэт, священная свеча.

Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?

1973

ОТРЫВОК ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ПОЭМЫ О ПУШКИНЕ

1. Он и она

Каков? — Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен — опасен, зол в речах.
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.

Ужасен, если оскорблён. Ревнив.
Рождён в Москве. Истоки крови — родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс — бешеный. Куда там нильским водам!

Гневить не следует: настигнет и убьет.
Когда разгневан — страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот —
не стонет, не страшится, кротко бредит.

В глазах — та странность, что белок белей,
чем нужно для зрачка, который светел.
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,
как вольный франт. Вот так ее и встретил

в пустой аллее. Какова она?
Божественна! Он смотрит (злой, опасный).
Собаньская (Ржевусской рождена,
но рано вышла замуж, муж — Собаньский,

бесхитростен, ничем не знаменит,
тих, неказист и надобен для виду.
Его собой затмить и заменить
со временем случится графу Витту.

Об этом после). Двадцать третий год.
Одесса. Разом — ссылка и свобода.
Раб, обезумев, так бывает горд,
как он. Ему — двадцать четыре года.

Звать — Каролиной. О, из чаровниц!
В ней всё темно и сильно, как в природе.
Но вот письма французский черновик
в моём, почти дословном, переводе.

2. Он — ей **(Ноябрь 1823 года, Одесса)**

Я не хочу Вас оскорбить письмом.
Я глуп (зачеркнуто)... Я так неловок
(зачеркнуто)... Я оскудел умом.
Не молод я (зачеркнуто)... Я молод,
но Ваш отъезд к печальному концу
судьбы приравниваю. Сердцу тесно
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу
(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство.
Когда я вижу Вас, я всякий раз
смешон, подавлен, неумён, но верьте
тому, что я (зачеркнуто)... что Вас,
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)...

* * *

Теперь о тех, чьи детские портреты
впярят в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты, забритые в поэты,
те стриженые девочки сидят.

У, чудища, в которых всё нечетко!
Указка им — лишь наущенье звезд.
Не верьте им, что кружева и чёлка.
Под чёлкой — лоб. Под кружевами — хвост.

И не хотят, а притворятся ловко.
Простак любви влюбиться норовит.
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.
Тать мглыочной, «мне страшно!» — говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:
дай ей страдать — и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручней ласки.
Когда б ты знал, прижав ее к груди:
всё, что ты есть, она предаст огласке
на столько лет, сколь есть их впереди.

Кто жил на белом свете и мужского
был пола, знает, как судьба прочна
в нас по утрам: иссохло в горле слово,
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки, —
что ей твой ад, когда она в раю?
Летит, минуя там, в надзвездном верхе,
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

А всё ж — пора. Стыдясь, озябнув, мучась,
напялит прах вчерашнего пера
и — прочь, одна, в бесхитростную участь
живь, где жила, где жить опять пора.

Те, о которых речь, совсем иначе
встречают день. В его начальной тьме,
о, их глаза, — как рысий фосфор, зрячи,
и слышно: бьется сильный пульс в уме.

Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!
Вчерашний день ей не в науку. Ты —
здесь ни при чем. Её душа свободна.
Ей весело, что листья так желты.

Ей важно, что тоскует звук о звуке.
Что ты о ней — ей это всё равно.
О муке речь. Но в степень этой муки
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,
вчера шутил — уже не помнишь с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не обронив, —
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.

1973

ОЖИДАНИЕ ЁЛКИ

Благоволите, сестра и сестра,
дочери Елизавета и Анна,
не шелохнутесь! О, как еще рано,
как неподвижен канун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,
не понукайте мгновенья, покуда
медленный бег неизбежного чуда
сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трёхглавая тень,
Пущин минует сугробы и льдины.
Елизавета и Анна, едины
миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!
Зверь добродушный, пришелец желанный,
сжался над Елизаветой и Анной,
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!
Всё вам верну, ничего не отнявши.
Грозно-живучее шествие наше
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,
изнемогая и свет исторгая.
Елизавета и Анна, какая
радость — мучительно радости ждать!

Древо взирает на дочь и на дочь.
Надо ль бедой расплатиться за это?
Или же, Анна и Елизавета,
так нам сойдет в новогоднюю ночь?

Жизнь и страданье, и всё это — ей,
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.
Кто это?
Елизаветы и Анны
крик: — Это ель! Это ель! Это ель!

1973

* * *

Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь —

при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли...
О чём бишь? Да о друге знаменитом.
Свирепей дружбы в мире нет любви.

Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,
и все о нём, и все в укор ему.
Любовь моя — вот мой туманный довод.
Я не учена вашему уму.

Когда б досель была я молодая,
все б спорила до расцветенья щёк.
А слава что? Она — молва худая,
но это тем, кто славен, не упрек.

О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.

Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: — Страхись. Дурная весть.

— О нём? — О нём. — И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: — Он умер.
А ты — держись. Иди к его жене.

Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознёсся над землей.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошел, а я еще кричала.
Проходит жизнь, а я еще кричу.

О, пусть моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву —
не дай мне Бог моих друзей оплакать!
Всё остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы — судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

* * *

Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повремени:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.

Иду... февраль прохладой лечит
жар щёк... и снегу намело
так много... и нескромно блещет
красой любви лицо мое.

1974

* * *

Борису Мессереру

Как никогда, беспечна и добра,
я вышла в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.

Ирландский сеттер, резвый, как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
щенки и дети радовались снегу,
в глаза и губы мне попал снежок,
и этот малый случай был смешон,
и всё смеялось и склоняло к смеху.

Как в этот миг любила я Москву
и думала: чем дольше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит —
всё есть и воспеванью подлежит,
что может быть разумней и священней?

День жизни, как живое существо,
стоит и ждет участья моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что — жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовётся Хлебным.

1974

ДОМ

Борису Мессереру

Я вам клянусь: я здесь бывала!
Бежала, позабыв дышать.
Завидев снежного болвана,
вздыхала, замедляла шаг.

Непрочный памятник мгновенью,
снег рукотворный на снегу,
как ты, жива на миг, а верю,
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа
к витринам — празднество сулил.
Уже Никитские ворота
разверсты были, снег валил.

Какой полёт великолепный,
как сердце бедное неслось
вдоль Мерзляковского — и в Хлебный,
сквозняк — навылет, двор — насквозь.

В жару предчувствия плохого
поступка до скончанья лет —
в подъезд, где ветхий лак плафона
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
нabit, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,
которым не было числа,
подвыпивших, поскольку праздник,
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум жаждал,
подглядывая с добротой
неистовую жизнь сограждан,
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность
моя в том доме длилась, я
его старухам полюбилась
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом
мы поднимались, говоря
о том, как тяжко старым телом
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве
душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пульсировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске.

Я шла, ущелья коридоров
меня заманивали в глубь
чужих печалей, свадеб, вздоров,
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне — выше, мне — туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живет.

Его диковинные вещи
воспитаны, как существа.
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,
был не корыстен, не богат.
Возвышенная вещь родима
душе, как верный пёс иль брат.

Со свалки времени былого
возвращены и спасены,
они печально и беззлобно
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового
так широко открыт раструб.
Четыре вещих граммофона
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю,
я так же голову держу.

Я, как они, витиевата,
и горла обнажен проём.
Звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моём.

Не их ли зов меня окликнул,
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,
как зряч к значению красоты!
Мой город, словно новый город,
мне предъявил свои черты.

Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь —
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?

Лиловой гроздью виснет сумрак.
Вот стул — капризник и чудак.
Художник мой портрет рисует
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:
любить — вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Всегда быть не хитрей, чем дети,
не злей, чем дерево в саду,
благословляя жизнь на свете
заботливей, чем жизнь свою.

Так я жила былой зимою.
Ночь разрасталась, как сирень,
и всё играла надо мною
печали сильная свирель.

Был дом на берегу бульвара.
Не только был, но ныне есть.
Зачем твержу: я здесь бывала,
а не твержу: я ныне здесь?

Еще жива, еще любима,
всё это мне сейчас дано,
а кажется, что это было
и кончилось давним-давно...

1974

* * *

Б.М.

Потом я вспомню, что была жива,
зима была и падал снег; жара
стесняла сердце, влюблена была —
в кого? во что?

Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)... День-деньской,
ночь напролёт я влюблена была —
в кого? во что?

В тот дом на Поварской,
в пространство, что зовется мастерской
художника.

Художника дела
влекли наружу, в стужу. Я ждала
его шагов. Смеркался день в окне.
Потом я вспомню, что казался мне
труд ожиданья целью бытия,
но и тогда соотносила я
насущность чудной нежности — с тоской
грядущей... А дом на Поварской —
с немыслимым и неизбежным днем,
когда я буду вспоминать о нём...

1974

* * *

Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий,
но обойди твоей опекой жгучей
двух девочек, замаранных малиной.

Еще смеются, рыщут в листьях ягод
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.
Как все, хотела — и поила грудью,
хотела — мёдом, а вспоила — ядом.

Непоправима и невероятна
в их лицах мета нашего единства.
Уж коль ворона белой уродится,
не дай ей Бог, чтоб были воронята.

Белеть — нелепо, а чернеть — не ново,
чернеть — недолго, а белеть — безбрежно.
Всё более я пред людьми безгрешна,
всё более я пред детьми виновна.

ПРОЗА

НА СИБИРСКИХ ДОРОГАХ

Всем сразу нашлось куда ехать.

— Горск! Речинск! — радостно вскрикивали вокруг нас и бежали к «газикам», пофыркивающим у обкомовского подъезда.

И только мы с Шурой слонялись по городу, томились, растерянно ели беляши, и город призрачно являлся нам из темноты, по-южному белея невысокими домами, взревывая близкими паровозами.

Шура был долгий, нескладный человек, за это и звали его Шурой, а не Александром Семеновичем, как бы следовало, потому что он был не молод.

К утру наконец нашелся и для нас повод прыгнуть в «ГАЗ-69» и мчаться вперед, толкаясь плечами и проминая головой мягкий брезентовый потолок.

— Поезжайте-ка вы в Тумы, — сказал нам руководитель нашей группы практикантов-журналистов. — Где-то возле Тумы работают археологи из Москвы, ведут интересные раскопки. Это для Шуры. А вы разыщите сказителя Дорышева.

Мы сразу встали и вышли. Яркий блеск неба шлепнул нас по щекам. И мне и Шуре хотелось бы иметь другого товарища — более надежного и энергичного, чем мы оба, которому счастливая звезда доставляет с легкостью билеты куда угодно и свободные места в гостинице. Неприязненно поглядывая друг на друга, мы с Шурой всё больше тосковали по такому вот удачливому попутчику.

...На маленьком аэродроме маленькие легкомысленные самолеты взлетали и опускались, а очередь, почти сплошь одетая в белые платочки, всё не убавлялась. Куда летели, кого провожали эти женщины? Умудренные недавним огромным перелетом, мы с улыбкой думали о малых расстояниях, предстоящих им, а их лица были серьезны и сосредоточенны. И, может быть, им, подавленным значительностью перемен, которые собирались обрушить на их склоненные головы маленькие самолеты, суетными и, конечно, далекими казались и огромный город, из которого мы прилетели, и весь этот наш семичасовой перелёт, до сих пор тяжело, как вода, мешающий ушам, и все наши невзгоды, и археологи, блуждающие где-то около Тумы.

На маленьком аэродроме Шура стал уже нестерпимо высоким, и, когда я подняла голову, чтобы поймать его рассеянное, неопределенно плывущее в вышине лицо, я увидела сразу и лицо его и самолет.

Нас троих отсчитали от очереди: меня, Шуру и мрачного человека, за которым до самого самолета семенила, отступалась и всплакивала женщина в белом платке. Нам предстояло час лететь: дальше этого часа самолет не мог ни разлучить, ни осчастливить. Но когда самолет ударил во все свои погремушки, собираясь вспорхнуть, белым-белу, белее платка, ее лицо заслонило нам дорогу — у нас даже глаза заболели — и, ослепленный и напуганный этой белизной, встрепенулся всегда дремлющий вполглаза, как птица, Шура. Белело вокруг нас! Но это уже не небо белело — на маленьком аэродроме небо начиналось сразу над вялыми кончиками травы.

Летчик сидел среди нас, как равный нам, но всё же мы с интересом и заискивающе поглядывали на его необщительную спину, по которой сильно двигались мышцы, сохранявшие нас в благополучном равновесии. Этот летчик не был

отделен от нашего земного невежества таинственной недоступностью кабины, но цену себе он знал.

— Уберите локоть от дверцы! — прокричал он, не оборачиваясь. — До земли хоть и близко, а падать всё равно неприятно.

Я думала, что он шутит, и с готовностью улынулась его спине. Тогда, опять-таки не оборачивая головы, он крепко взял мой локоть, как нечто лишнее и вредно мешающее порядку, и переместил его по своему усмотрению.

Внизу близко зеленели неистовой химической зеленью горы, поросшие лесом, или скучно голубела степь, по которой изредка проплывали грязноватые облака овечьих стад, а то вдруг продолговатое чистое озеро показывало себя до дна, и чудилось даже, что в нём различимы продолговатые рыбы тела.

Эта таинственная, близко-далекая земля походила на дно моря, — если плыть с аквалангом и видеть сквозь стекло и слой воды неведомые, опасно густые водоросли, пробитые белыми пузырьками, извещающими о чьей-то малой жизни, и вдруг из-за угла воды выйдет рыба и уставится в твои зрачки красным недобрый глазом.

— Красивая земля! — крикнула я дремлющему Шуре в ухо.

— Что?

— Красивая земля!

— Не слышу!

Пока я докричала до него эту фразу, она утратила свою незначительность и скромность и оглушила его высокопарностью, так что он даже отодвинулся от меня.

Около Тумы самолет взял курс на старика, вышедшего из незатейливой будки, — в одной руке чайник, в другой полосатый флаг, — и прямо около чайника и флага остановился.

Нашего мрачного попутчика, которого на аэродроме провожала женщина в белом платке, встретила подвода, а мы, помаявшись с полчаса на посадочной площадке, отправились в ту же сторону пешком.

В Тумском райкоме, издалека обнаружившем себя бледно-розовым выцветшим флагом, не было ни души, только женщина мыла пол в коридоре. Она даже не разогнулась при нашем появлении и, глядя на нас вниз головой сквозь твердо расставленные ноги, сказала:

— С Москвы, что ль? Ваша телеграмма нечитаная лежит. Все на уборке в районе, сегодня третий день.

Видно, странный ее способ смотреть на нас — наоборот и снизу вверх — и нам придавал какую-то смехотворность, потому что она долго еще, совсем ослабев, заливалась смехом в длинной темноте коридора, и лужи всхлипывали под ней.

Наконец она-domыла свое, страстно выжала тряпку и пошла мимо нас, радостно ступая по мокрому чистыми белыми ногами, и уже оттуда, с улицы, из сияющего простора своей субботы, крикнула нам:

— И ждать не ждите! Раньше понедельника никого не будет!

При нашей удачливости мы и не сомневались в этом. Вероятно, я и Шура одновременно представили себе наших товарищей по командировке, как они давно приехали на места, сразу обо всем договорились с толковыми секретарями райкомов, выработали план на завтра, провели встречи с работниками местных газет, и те, очарованные их столичной осведомленностью и уверенностью повадки, пригласили их поужинать чем бог послал. А завтра они поедут куда нужно, и сокровенные тайны труда и досуга легко откроются их любопытству, и довольный наш руководитель, принимая из их рук лаконичный и острый материал, скажет озабоченно: «За

вас-то я не беспокоился, а вот с этими двумя просто не знаю, что делать».

С завистью подумали мы о мире, уютно населенном счастливцами.

В безнадежной темноте пустого райкома мы вдруг так смешны и жалки показались друг другу, что чуть не обнялись на сиротском подоконнике, за которым с дымом и лязгом действовала станция Тума и девушки в железнодорожной форме, призывая паровозы, трубили в рожки. Мы долго, как та женщина, смеялись: Шура, закинув свою нервно-седую, встрепанную голову, и я, уронив отяжелевшую свою.

Вдруг дверь отворилась, и два человека обозначились в ее неясной светлоте. Они приметили нас на фоне окна и, словно в ужасе, остановились. Один из них медленно и слепо пошел к выключателю, зажегся скромный свет, и, пока они с тревогой разглядывали нас, мы поняли, что они, как горем, подавлены тяжелой усталостью. Из воспаленных век глядели на нас их безразличные, уже подернутые предвкушением сна зрачки.

Окрыленные нашей первой удачей — их неожиданным появлением, — страстно пытаясь пробудить их, мы бойко заговорили:

— Мы из Москвы. Нам крайне важно увидеть сказителя Дорышева и археологов, работающих где-то в Тумском районе.

— Где-то в районе, — горько сказал тот из них, что был повыше и, видимо, постарше возрастом и должностю. — Район этот за неделю не объедешь.

— Товарищи, не успеваем мы с уборкой, прямо беда, — отозвался второй, виновато розовея белками, — не спим вторую неделю, третьи сутки за рулем.

Но всё это они говорили ровно и вяло, уже подремывая в преддверии отдыха, болезненно ощущая чернеющий в углу

облупившийся диван, воображая всем телом его призывную, спасительную округлость. Они бессознательно, блаженно и непреклонно двигались мимо нас в его сторону, и ничто не могло остановить их, во всяком случае, не мы с Шурой.

Мы не отыскали столовой и, нацелившись на гудение и оранжевое зарево, стоящие над станцией, осторожно пошли сквозь темноту, боясь расшибить лоб об ее плотность.

В станционном буфете, вкривь и вкось освещенном гуляющими вокруг паровозами, тосковал и метался единственный посетитель.

— Нинку речинскую знаешь? — горестно и вызывающе кричал он на буфетчицу. — Вот зачем я безобразничаю! На рудники я подамся, ищи меня свищи!

— Безобразничай себе, — скучно отзывалась буфетчица, и ее ленивые руки поплыли за выпуклым стеклом витрины, как рыбы в мутном аквариуме.

Лицо беспокойного человека озарилось лаской и надеждой.

— Нинку речинскую не знаете? — спросил он, искательно заглядывая нам в лица. И вдруг в дурном предчувствии, махнув рукой, словно отрекаясь от нас, бросился вон, скандально хлопнув дверью.

— Кто эту Нинку не знает! — брезгливо вздохнула буфетчица. — Зря вы с ним разговаривать затеяли.

Было еще рано, а в доме приезжих все уже спали, только грохочущий умывальник проливал иногда мелкую струю в чьи-то ладони. Я села на суворо-чистую, отведенную мне постель, вокруг которой крепким сном спали восемь женщин и девочка. «Что ее-то занесло сюда?» — подумала я, глядя на чистый, серебристый локоток, вольно откинутый к изголовью. Среди этой маленькой, непрочной тишины, отгороженной скучными стенами от грохота и неуята наступающей ночи, она так ясно, так глубоко спала, и сладкая лужица про-

зрачной младенческой слоны чуть промочила подушку у приоткрытого уголка ее губ. Я пристально, нежно, точно колдуя ей доброе, смотрела на слабый, не окрепший еще полумесяц ее лба, неясно светлевший в полутьме комнаты.

Вдруг меня тихо позвали из дверей, я вышла в недоумении и увидела неловко стоящих в тесноте около умывальника тех двоих из райкома и Шуру.

— Еле нашли вас, — застенчиво сказал младший. — Поехали, товарищи.

Мы растерянно вышли на улицу и только тогда опомнились, когда в тяжело дышавшем, подпрыгивающем «газике» наши головы сшиблись на повороте.

Они оказались секретарем райкома и его помощником, Иваном Матвеевичем и Ваней.

Скованные стыдом и тяжелым чувством вины перед ними, мы невнятным лепетом уговаривали их не ехать никуда и выспаться.

— Мы выспались уже, — бодро прохрипел из-за руля Иван Матвеевич. — Только вот что. Неудобно вас просить, конечно, но это десять минут задержки, давайте заскочим в душевую, как раз в депо смена кончилась.

Нерешительно выговорив это, он с какой-то даже робостью ждал нашего ответа, а мы сами так оробели перед их бесконницей, что были счастливы и готовы сделать всё, что угодно, а не то что заехать в душевую.

«Газик», похожий на «виллис» военных времен, резво запрыгал и заковылял через ухабы и рельсы, развернулся возле забора, и мы остановились. Шура остался сидеть, а мы пошли: те двое — в молчание и в тяжелый плеск воды, а я — в повизгивание, смех до упаду и приторный запах праздничного мыла. Но как только я открыла дверь в пар и влагу, всё стихло, и женщины, оцепенев, уставились на меня. Мы долго смотрели друг на друга, удивляясь разнице наших тел, отсту-

пая в горячий туман. Уж очень по-разному мы были скроены и расцвечены, снабжены мускулами рук и устойчивостью ног. Я брезговала теперь своей глупо-белой, незагорелой кожей, а они смотрели на меня без раздражения, но с какой-то печалью, словно вспоминая что-то, что было давно.

— Ну что уставились? — сказала вдруг одна, греховно рыжая, расфранченная веснушками с головы до ног. — Кая-никакая, а тоже баба, как и мы. — И бросила мне в ноги горячую воду из шайки. И без всякого перехода они приняли меня в игру — визжать и заигрывать с душем, который мощно хлестал то горячей, то холодной водой.

А когда я ушла от них одеваться, та, рыжая, позолоченной раскрасавицей глянула из дверей и заокала:

— Эй, горожаночка! Оставайся у нас, мы на тебя быстро черноту наведем.

Иван Матвеевич и Ваня уже были на улице, и такими молодыми оказались они на свету, после бани, что снова мне жалко стало их: зачем они только связались со мной и Шурой?

Мы остановились еще один раз. Ваня нырнул, как в омут, в темноту и, вынырнув, бросил к нам назад ватник, один рукав которого приметно потяжелел и булькал.

— Ну, Дорышева известно где искать, — сказал Иван Матвеевич, посвежевший до почти мальчишеского облика. — Потрясемся часа два, никак не больше.

Жидким, жестяным громом грянул мотор по непроглядной дороге, в темноте зрение совсем уже отказывало нам, и только похолодевшими, переполненными хвоей лёгкими угадывали мы дико и мощно растущий вокруг лес.

— Эх, уводит меня в сторону! — тревожно и таясь от нас, сказал Иван Матвеевич. — Не иначе баллон спустил.

Он взял правее, и тут что-то еле слышно хрюстнуло у нас под колесом.

— Ни за что погубили бурундучишку, — опечаленно поморщился Ваня.

Одурманенные, как после карусели, подламываясь нетвердыми коленями, мы вышли наружу.

— Не бурундук это! — радостно донеслось из-под машины.

Под правым колесом лежал огромный, смертельно перебитый в толстом стебле желтый цветок, истекающий жирною белой влагой.

— Здоровые цветы растут в Сибири! — пораженно заметил Ваня, но Иван Матвеевич перебил его:

— Ты бы лучше колесо посмотрел, ботаник.

Ваня с готовностью канул во тьму и восторженно заржал:

— В порядке баллон! Как новенький! Показалось вам, Иван Матвеевич! Баллончик хоть куда!

Он празднично застучал по колесу одним каблуком, но Иван Матвеевич всё же вышел поглядеть и весело, от всей своей молодости лягнул старенькую, да выносливую резину.

— Ну, гора с плеч, — смущенно доложил он нам. — Не хотел я вам говорить: нет у нас запаски, не успели перемонтировать. Сидели бы тут всю ночь.

Кажется, первый раз за это лето у меня стало легко и беззаботно на душе. Как счастливо всё складывалось! Диковатая, неукрощенная луна тяжело явилась из-за выпуклой черноты гор, прояснились из опасной тьмы сильные фигуры деревьев, и, застигнутые врасплох этим ярким, всепроникающим светом, славно и причудливо проглянули наши лица. И когда, подброшенные резким изъяном дороги, наши плечи дружно встретились под худым брезентом, мы на секунду задержали их в этой радостной братской тесноте.

Я стала рассказывать им о Москве, я не вспоминала ее: в угоду им я заново возводила из слов прекрасный, легкий го-

род, располагающий к головокружению. Дворцы, мосты и театры складывала я к их ногам взамен сна на черном диване.

Из благодарности к ним я и свою жизнь подвела под ту же радугу удач и развлечений, и столько оказалось в ней забавных пустяков, что они замолкли, не справляясь со смехом, прерывающим дыхание.

Вдруг впереди слабо, как будто пискнул, прорезался маленький свет.

На отчаянной скорости влетели мы в Улус и остановились, словно поймав его за хвост после утомительной погони.

Мы долго стучали на крыльце, прежде чем медленное, трудно выговоренное «Ну!» то ли пригласило нас в дом, то ли повелело уйти. Всё же мы вошли — и замерли.

Прямо перед нами на высоком табурете сидела каменно-большая, в красном и желтом наряде женщина с темно-медными, далеко идущими скулами, с тяжко выложенными на живот руками, уставшими от власти и труда.

Ваня почему-то ничуть не оробел перед этой обширной, тяжело слепящей красотой. Ему и в голову не пришло, как мне, пасть к подножию ее грозного тела и просить прощения неведомо в чём.

— Здравствуйте, мамаша! — бойко сказал он. — А где хозяин? К нему люди из Москвы приехали.

Не зрачками она смотрела на нас, а всей длиной узко и сильно чернеющих глаз. Пока она смиряла в себе глубокий рокот древнего, царственного голоса, чтобы не тратить его попусту на неважное слово, казалось, проходили века.

Каков же должен быть он, ее «повелитель», отец ее детей, которого и ей не дано переглядеть и перемолчать, пред которым ее надменность кротко сникнет? Я представляла себе, как он, знаменитый сказитель, войдет в свой дом и оглядит его лукаво и самодовольно: ради этого дома он погнулся

городской славы и почёта, а чего только не сулили ему! Без корысти лицемеря, он скромно вздохнет. Нет, он не понимает, почему не поют другие. Только первый раз трудно побороть немоту, загромождающую гортань. Зато потом так легко принять в грудь, освобожденную от душного косноязычия, чистый воздух и вернуть его полным и круглым звуком. Как сладко, как прохладно держать за щекой леденец еще не сказанного слова! Разве он сочинил что-нибудь? Он просто вспомнил то, что лежит за пределами памяти: изначальную влажность земли, вспоившую чью-то первую алчность жизни, высыхание степи, вспомнил он и то время, когда сам он был маленькой алоей темнотой, предназначеннной к жизни, и всё то, что знали умершие, и то, чего еще никогда не было, да и вряд ли будет на земле.

Да и не поет он вовсе, а просто высоко, натужно бормочет, коряво пощипывая пальцем самодельную струну, натянутую вдоль полого длинного ящика.

Но вот острое кочевничье беспокойство легкой молнией наискось пробьет его неподвижное тело, хищной рукой он сорвет со стены чатхан с шестью струнами и для начала покажет нам ловкий кончик старого языка, в котором щекотно спит до поры звездная тысяча тахпахов-песен, ведомых только ему.

Потом он начнет раздражать и томить инструмент, не прикасаясь к его больному месту, а ходя пальцами вокруг да около, пока тот, доведенный до предела тишины, сам не истогнет печальной и тоненькой мелодии. Тогда, зовущее заглядывая в пустое нутро чатхана, вы кликнет он имя богатыря Кюн-Тениса — раз и другой. Никто не отзовется ему. Красуясь перед нами разыгранной неудачей, загорюет он, заищет в струнах, и, на радость нашему слуху, явится милый богатырь, одетый в красный кафтан на девяти пуговках, добрый и к людям, и к скоту.

Так я слушала свои мысли о нём, а в ее небыстрых устах зрели, образовывались и наконец сложились слова:

— Нет его. Ушел за медведем на Белый Июс.

Зачарованная милостивым ее ответом, я не заметила даже, как с горестным сочувствием и виновато Иван Матвеевич и Ваня отводят от меня глаза. (Шура-го, наверное, и не ожидал ничего другого.) Но не жаль мне было почему-то, что, усугубляя мои невзгоды, всё дальше и дальше в сторону Белого Июса, точно вслед медведю, легко празднуя телом семидесятилетний опыт, едет на лошади красивый и величавый старик. Родима и уютна ему глубокая бездна тайги, и конь его не ошибается в дороге, нацелившись смелой ноздрей на гибельный и опасный запах.

Но тут как бы сквозняком вошла в дом распаленная движением девушка и своей разудалою раскосостью, быстрым говором и современной кофтёнкой расколдовала меня от чар матери.

Она сразу поняла, что к чему, без промедления обняла меня пахнущими степью руками и, безбоязненно сдернув с высокого гвоздя отцовский чатхан, заявила:

— Не горюйте, услышите вы, как отец поет. Я вам его брата позову — и совсем не так и всё-таки похоже.

Она повлекла нас на крыльцо, с крыльца и по улице, ясно видя в ночи. Возле большого, не веющего жильем дома она прыгнула, не примериваясь, где-то в вышине поймала ключ и, вталкивая нас в дверь, объясила:

— Это клуб. Идите скорей: электричество до двенадцати.

Выдав нам по табуретке, она четыре раза называлась Аней, на мгновение подарив каждому из нас маленькую трепещущую руку. Затем повелела темноте за окном:

— Коля! Веди отцовского брата! Скажи, гости из Москвы приехали.

— Сейчас, — покорно согласились потёмы.

Аня, словно яблоки с дерева рвала, без труда доставала из воздуха хлеб, молоко и сыр и раскладывала их перед нами на чернильных узорах стола. Иван Матвеевич нерешительно извлек из ватника бутылку водки и поместил ее среди прочей снеди.

Тут обнаружился в дверях тонко сложенный и обветренный, как будто только что с коня, юноша и доложил Ане:

— Не идет он. Говорит, стыдно будить старого человека в такой поздний час.

— Значит, сейчас придет вместе с женой, — предупредила Аня. — Вы наших стариков еще не знаете: всё делают наоборот себе. Интересно им что-нибудь — головы не повернут посмотреть; поговорить хочется до смерти, вот как матери моей, — ни одного слова не услышите. А если так и подмывает глянуть на гостей, разведать, зачем приехали, нарочно спать улягутся, чтобы уговаривали.

Мне и самой потом казалось, что эти люди в память древней привычки делать только насущное стараются побарывать в себе малые и лишние движения: любопытство, разговорчивость, суетливость.

Мы вытянули из единственного стакана карандаши и скрепки и по очереди выпили водки и молока. Я сидела вполспины к Шуре, чтобы не помешать ему в этих двух полезных и сладких глотках, но поняла всё же, что он не допил своей водки и передал стакан дальше.

— Ну, за ваши удачи, — сказал Иван Матвеевич, настойчиво глядя мне в глаза, и вдруг я подумала, что он разгадал меня, добро и точно разгадал за всеми рассказами мою истинную неуверенность и печаль.

— Спасибо вам, — сказала я, и это «спасибо» запело и заплакало во мне.

Снова заговорили о Москве, и я легко, без стыда рассказала им, как мне что-то не везло последнее время... Оконч-

тельно развенчав и унизив свой первоначальный «столичный» образ, я остановилась. Они серьезно смотрели на меня.

Сосредоточившись телом, как гипнотизер, трудным возбуждением доведя себя до способности заклинать, ощущая мгновенную власть над жизнью, Ваня сказал:

— Всё это наладится.

Все торжественно повторили эти слова, и Аня подтвердила:

— Наладится.

Милые люди! Как щедро отреклись они от своих неприятностей, употребив не себе, а мне на пользу восточную многозначительность этой ночи и непростое сияние луны, и у меня действительно всё наладилось вскоре, спасибо им!

В двенадцать часов погас свет, и Аня заменила его мутной коптилкой. В сенях, словно в недрах природы, возник гордый медленный шум, и затем, широко отражая наш скучный огонь, вплыли одно за другим два больших лица.

На нас они и не глянули, а, имея на губах презрительное и независимое выражение, уставились куда-то чуть пониже луны.

— Явились наконец, — приветствовала их Аня.

Они только усмехнулись: огромный и плавный в плечах старик, стоящий впереди, и женщина, точно воспроизводящая его наружность и движения, не выходившая из тени за его спиной.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласили мы.

— Нет уж, — с иронией ответил старик, обращаясь к луне, и у нее же строптиво осведомился: — Зачем звали?

— Спойте нам отцовские песни, — попросила его Аня. Но упрямый гость опять не согласился:

— Ни к чему мне его песни петь. Медведя убить недолго, вернется и споет.

— Ну, свои спойте, ведь люди из Москвы приехали, — умоляли в два голоса Аня и Коля.

— Зря они ехали, — рассердился старик, — зачем им мои песни? Им и без песен хорошо.

Мы наперебой стали уговаривать его, но он, вконец обидевшись, объявил:

— Ухожу от вас. — И тут же прочно и довольно уселся на лавке, и жена его села рядом. Но, нанеся такой вред своему нраву, он молвил с каким-то ожесточением:

— Не буду петь. Они моего языка не знают.

— Ну, не пойте, — не выдержала Аня, — обойдемся без вас.

— Ха-ха! — надменно и коротко выговорил старик, и жена в лад ему усмехнулась.

— Может быть, выпьете с нами? — предложил Иван Матвеевич.

— Ну уж нет, — оскорбленно отказался старик и протянул к стакану тяжелую, цепкую руку. Он выпил сам и, не поворачивая головы, снисходительно и ехидно глянул косиной глаза, как, не меняясь в лице, пьет жена.

Иван Матвеевич тем временем рассказывал, что у них в райкоме все молодые, а тех, кто постарше, перевели кого куда, урожай в этом году большой, но дожди, и рук не хватает, еще киномеханик заболел, вот Ваня и таскает за собой передвижку, чтобы хоть чуть отвлечь людей от усталости, а пока невеста хочет его бросить — за бензинный дух и красивые, как у кролика, глаза.

— Мне-то хорошо, — улыбнулся Иван Матвеевич, — моя невеста давно замуж вышла, еще когда я служил во флоте на Дальнем Востоке.

— Ну, давай, давай чатхан! — в злобном нетерпении прикрикнул старик и выхватил из Аниных рук простой, белого дерева инструмент. Он долго и недоброжелательно примеривался к нему, словно ревновал его к хозяину, потом закинул голову, словно хотел напиться и освобождал

горло. В нашу тишину пришел первый, гортанный и горестный звук.

Он пел хрипло и ясно, выталкивая грудью прерывистый, насыщенный голосом воздух, и всё, что накопил он долгим бесчувствием и молчанием, теперь богато расточалось на нас. В чистом тщеславии высоко вознеся лицо, дважды освещенное — луной и керосиновым пламенем, он похвалялся перед нами глубиной груди, допускал нас заглянуть в ее далекость, но дна не показывал.

— Он поет о любви, — застенчиво пояснил Коля, но я сама поняла это, потому что на непроницаемом лице женщины мелькнуло вдруг какое-то слабое, неуловимое движение.

— Хорошо я пел? — горделиво спросил старик.

Мы принялись хвалить его, но он гневно нас одернул:

— Плохо я пел, да вам не понять этого. Семен поет лучше.

Я снова подумала: каков же должен быть тот, другой, всех превзошедший голосом и упрямством?

Мы уже собирались укладываться, как вдруг в дверях встало желто-красное зарево, облекающее ту женщину, и я вновь приняла на себя сказочный гнев ее воли.

— Иди, — звучно сказала она, словно не губы служили ее речи, а две сведенные медные грани.

Я подумала, что она зовет дочь, но ее согнутый, утяжеленный кольцом палец смотрел на меня.

— Правда, идемте к нам ночевать! — обрадовалась Аня и ласково прильнула ко мне, снова пахнув на меня травой, как жеребенок.

Меня уложили на высокую чистую постель под чатханом, хозяин которого так ловко провел меня, оседлав коня, в тот момент, когда я отправилась на его поиски.

Я легко улыбнулась своему счастливому злополучию и заснула.

Проснувшись от внезапного беспокойства, я увидела над собой длинные черные зрачки, не оставившие места белкам, глядящие на меня с острым любопытством.

Видно, эта женщина учゅяла во мне то, далекое, татарское, милое ей и теперь вызывала его на поверхность, любовалась им и обращалась к нему на языке, неведомом мне, но спящем где-то в моём теле.

— Спи! — сказала она и с довольным смехом положила мне на лицо грузную, добрую ладонь.

Утром Аня повела меня на крыльцо умываться и, озорничая и радуясь встрече, плеснула мне в лицо ледяной, вкусно охолодившей язык водой. Сквозь радуги, повисшие на ресницах, увидела я вкривь и вкось сияющее ярко-золотое пространство. Горы, украшенные голубыми деревьями, близко подступали к глазам, и было бы душно смотреть на них, если бы в спину чисто и влажно не сквозило степью.

Кто-то милый ткнул меня в плечо, и по-родному, трогательному запаху я отгадала, кто это, и обернулась, ожидая прекрасного. Славная лошадь приветливо глядела на меня.

— Ты что?! — ликующе удивилась Аня и, повиснув у нее на шее, поцеловала ее кругую, чисто-коричневую скулу.

Оцепенев, я смотрела на них и никак не могла отвести взгляда.

... Мои спутники были давно готовы к дороге. Иван Матвеевич и Ваня обернулись пригожими незнакомцами. Даже Шура стал молодцом, свободно расположив между землей и небом свою высоко протяженную худобу.

Аня прощально припала ко мне всем телом, и ее быстрая кровь толкала меня, напирала на мою кожу, словно просилась проникнуть вовнутрь и навсегда оставить во мне свой горьковатый, тревожный привкус.

Женщина уже царствовала на табурете, еще ярче краснея и желтея платьем в честь воскресного дня. Мы поклонились

ей, и снова ее продолговатый всевидящий глаз объёмно охватил нас в лицо и со спины, с нашим прошлым и будущим. Она кивнула нам, почти не утруждая головы, но какая-то ободряющая тайна быстро мелькнула между моей и ее улыбкой.

На пороге крайнего дома с угасшими, но еще вкусными трубками в сильных зубах сидели вчерашний певец и его жена. Как и положено, они не взглянули на нас, но Иван Матвеевич притормозил и крикнул:

— Доброе утро! Археологов не видали где-нибудь поблизости? Может, кто палатки заметил или ходил землю копать?

— Никого не видали, — замкнуто отозвался стариk, и жена повторила его слова.

Мы выехали в степь и остановились. Наши ноги осторожно ступили на землю, как в студёную чистую воду: так холодно-ясно всё сияло вокруг, и каждый шаг раздавливал солнышко, венчающее остриё травинки. Бурный фейерверк перепёлок взорвался вдруг у наших лиц, и мы отпрянули, радостно испуганные их испугом. Желтое и голубое густо росло из глубокой земли и свадебно клонилось друг к другу. Растянутые доверием природы, не замкнувшей при нашем приближении свой нежный и беззащитный раструб, мы легли телом на ее благословенные корни, стебли и венчики, опустив лица в холодный ручей.

Вдруг тень всадника накрыла нас легким облаком. Мы подняли головы и узнали юношу, который так скромно, в половину своей стати, проявил себя вчера, а теперь был целостен и завершен в неразрывности с рослым и гневным конём.

— Стариk велел сказать, — проговорил он, с трудом остывая от ветра, — археологи на крытой машине, девять человек, один однорукий, стояли вчера на горе в двух километрах отсюда.

Одним взмахом руки он простился с нами, подзадорил коня и как бы сразу переместил себя к горизонту.

Наш «газик», словно переняв повадку скакуна, фыркнул, взбрькнул и помчался, слушаясь руки Ивана Матвеевича, вперед и направо мимо огромной желтизны ржаного поля. При виде этой богатой ржи лица наших попутчиков утратили утреннюю ясность и вернулись к вчерашнему выражению усталости и заботы.

— Хоть бы неделю продержалась погода! — с отчаянием взмолился Ваня и без веры и радости приидирчиво оглядел чистое, кроткое небо.

... Мы полезли вверх по горе, цепляясь за густой орешник, и вдруг беспомощно остановились, потому что заняты стали наши руки: сами того не ведая, они набрали полные пригоршни орехов, крепко схваченных в грозди нежно-кислою зеленью.

Щедра и приветлива была эта гора, всеми своими плодами она одарила нас, даже приберегла в тени неожиданную позднюю землянику, которая не выдерживала прикосновения и проливалась в пальцы приторным, темно-красным медом.

— Вот он, бурундучишка, который вчера уцелел, — прошептал Ваня.

И правда, на поверженном стволе сосны, уже погребенном во мху, сидел аккуратно-оранжевый, в чистую белую полоску зверек и внимательно и бесстрашно наблюдал нас двумя черно-золотыми капельками.

Археологи выбрали для стоянки уютный пологий просвет, где гора как бы сама отдохала от себя перед новым подъемом. Резко повеяло человеческим духом: дымом, едой, срубленным ельником. Видно, разумные, привыкшие к дороге люди ночевали здесь: последнее тление костра опрятно

задушило землею, колышки вбиты прочно, словно навек, банки из-под московских консервов, грубо сверкающие среди чистого леса, стыдливо сложены в укромное место. Но не было там ни одного человека из тех девяти во главе с одноруким, и природа уже зализывала их следы влажным целебным языком.

У Шуры колени подкосились от смеха, и он нескладно опустился на землю, как упавший с трёх ног мольберт.

— Не обращайте внимания, — едва выговорил он, — всё это так и должно быть.

Но те двое строго и непреклонно смотрели на нас.

— Что вы смеетесь? — жестко сказал Иван Матвеевич. — Надо догонять их, а не рассиживаться.

И тогда мы поняли, что эта затея обрела вдруг высокий и важный смысл необходимости с тех пор, как эти люди украсили ее серьезностью и силою сердца.

Мы сломя голову бросились с горы, оберегаемые пружинящим сопротивлением веток. Далеко в поле стрекотал комбайн, а там, где рожь подходила вплотную к горе, женщины побарывали ее серпами. Иван Матвеевич и Ваня жадно уставились на рожь, на комбайн и на женщин, прикидывая и вычисляя, и лица их отдалились от нас. Оба они поиграли колосом, сдули с ладони лишнее и медленно отведали зубами и языком спелых, пресно-сладких зерен, как бы предугадывая их будущий полезный вкус, когда они обратятся в зрелый и румяный хлеб.

— Когда кончить-то собираетесь, красавицы? — спросил Иван Матвеевич у жницы, показывающей нам сильную округлую спину.

Сладко хрустнув косточками, женщина разогнулась во весь рост и густою темнотой глянула на нас из-под низко повязанного платка. Уста ее помолчали недолго и пропели:

— Если солнышко поможет, — за три дня, а вы руку приложите, так сегодня к обеду управимся.

— Звать-то тебя как? — отозвался ее вызову Иван Матвеевич.

Радостно показывая нам себя, не таясь ладным, хороводно-медленным телом, она призналась с хитростью:

— Для женатых — Катерина Моревна, для тебя — Катенька.

Теперь они оба играли, прямо глядя в глаза друг другу, как в танце.

— А может, у меня три жены.

— Я к тебе и в седьмые пойду.

— Ну, хватит песни петь, — спохватился Иван Матвеевич. — Археологи на горе стояли — с палатками, с крытой машиной. Не видела, куда поехали?

— Видала, да забыла, — завела она на прежний мотив, но, горько разбуженная его деловитостью, опомнилась и буднично, безнапевно сказала, вновь поникая спиной: — Все их видали, девять человек, с ними девка и однорукий, вчера к ночи уехали, на озере будут копать.

— Поехали! — загорелся Иван Матвеевич и погнал нас к «газику», совсем заскучавшему в тени.

— Знаю я это озеро, — возбужденно говорил Ваня. — Там всяких первобытных черепков тьма-тьмущая. Эксаватору копнуть нельзя: то сосуд, то гробница. Весной готовили там яму под столб, отрыли кувшин и сдали к нам в райком. Так себе кувшинчик — сделан-то хорошо, но грязный, зеленый от плесени. Стоял он, стоял в красном уголке — не до него было, — вдруг налетели какие-то учёные, нюхают его, на зуб пробуют. Оказалось, он еще до нашей эры был изгото-
щен.

Всем этим он хотел убедить меня и Шуру, что на озере мы обязательно поймаем лёгких на подъём археологов.

Переутомленные остротой природы, мы уже не желали, не принимали ее, а она всё искушала, всё казнила нас своей яркостью. Ее цвета были возведены в такую высокую степень, что узнать и назвать их было невозможно. Мы не понимали, во что окрашены деревья, — настолько они были зеленее зеленого, а воспаленность соцветий, высоко поднятых над землей могучими стеблями, только условно можно было величать желтизною.

Машина заскользила по красной глине, оступаясь всеми колесами. Слева открылся кругой обрыв, где в глубоком разрезе земли, не ведая нашей жизни, каждый в своем веке, спали древние корни. Держась вплотную к ним, правым колесом разбивая воду, мы поехали вдоль небольшой быстрой реки. Два ее близких берега соединял канатный паром.

Согласно перебирая ладонями крученое железо каната, мы легко перетянули себя на ту сторону.

Озеро было большое, скучно-сладкое среди других, крепко посоленных озер. Наслаждаясь его пресностью, рыбы теснились в нём. Рыболовецкий совхоз как мог «облегчал» им эту тесноту: по всему круглому берегу сушились большие и продуваемые ветром, как брошенные замки, сети.

В конторе никого не было, только белоголовый мальчик, как наказанный, томился на лавке под Доской почета. Он неслыханно обрадовался нам и в ответ на наш вопрос об археологах, заикаясь на каждом слове, восторженно залепетал:

— Есть, есть, в клубе, в клубе, я вас отведу, отведу.

Он сразу полюбил нас всем сердцем, пока мы ехали, перелез по кругу с колен на колени ко всем по очереди, при克莱ившись чумазой щекой.

— Ага, не ушли от нас! — завопил Ваня, приметив возле клуба крытый кузов грузовика.

— Не ушли, не ушли! — счастливо повторял мальчик.

Отворив дверь, мы наискось осветили большую затемненную комнату. В ее пахнущей рыбой полутьме приплясывали, бормотали и похаживали на руках странные и непрятожие существа. Видимо, какой-то праздник происходил в этом царстве, но наше появление смущило его неладный порядок. Все участники этого темного и необъяснимого действия, завидев нас, в отчаянии бросились в дальний угол, оскальзываясь на серебряном конфетти рыбьей чешуи. И тогда, прикрывая собой их бегство, явился перед нами маленький невзрачный человек и объявил с воробышкой торжественностью:

— Да мы не профессионалы, мы от себя работаем!..

Он смело бросил нам в лицо эти гордые слова, и я почувствовала, как за моей спиной сразу сник и опечалился добрый Шура.

— Так, — потрясенно вымолвил Иван Матвеевич и, подойдя к окну, освободил его от мрачно-ветхого одеяла, заслонявшего солнце.

Среди чемоданов, самодельных ширм, оброненных на пол красных париков обнаружилось несколько человек, наряженных в бедную пестроть бантиков, косынок и беретов. В ярком и неожиданном свете дня они стыдливо и неумело томились, как выплеснутые на сушу водяные.

Меж тем маленький человек опять храбро выдвинулся вперед и заговорил, обращаясь именно ко мне и к Шуре, — видимо, он что-то приметил в нас, что его смутно обнадеживало. — Мы действительно по собственной инициативе, — подтвердил он каким-то испуганным и вместе героическим голосом.

Тут он всполошился, забегал, нырнул в глубокий хлам и выловил там длинный лист бумаги, на котором жидкотекущей акварелью было выведено: «ЭСТРАДНО-КОМИЧЕСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ». Рекламируя таким обра-

зом программу ансамбля, он застенчиво придерживал нижний нераскрученный завиток афиши, видимо, извещавший зрителя о цене билетов.

Поощренный нашей растерянностью, он резво и даже с восторгом обратился к своей труппе:

— Друзья, вот счастливый момент доказать руководящим товарищам нашу серьезность.

И жалобно скомандовал:

— Афина, пожалуйста!

Вышла тусклая, словно серым дождем прибитая, женщина. Она в страхе подняла на нас глаза, и сквозь скучный, нецветной туман ее облика забрезжило вдруг яркое синее солнышко детского взгляда. Ее как-то вообще не было видно, словно она смотрела на нас сквозь щель в заборе, только глаза синели, совсем одни, они одиноко синели, перебиваясь кое-как, вдали от нее, не ожидая помощи от ее слабой худобы и разладившихся пружин перманента.

Она торопливо запела, опустив руки, но они тяготили ее, и она сомкнула их за спиной.

— Больше мажора! — поддержал ее маленький человек.

— Тогда я, пожалуй, спою с движениями? — робко отозвалась она и отступила за ширму. Оттуда вынесла она большой капроновый шарф с опадающей позолотой и двинулась вперед, то широко распахивая, то соединяя под грудью его увядшие крылья.

Она грозно и бесстыдно наступала на нас озябшими локтями и острым голосом, а глаза ее синели всё так же боязливо и недоуменно. Смущенно поддаваясь ее натиску, мы пятись к двери, и все участники ансамбля затаенно и страстно следили за нашим отходом.

— Эх, доиграетесь вы с вашей халтурой! — предостерег их Ваня.

На крыльце мы вздохнули разом и опять улыбнулись друг другу в какой-то странной радости.

Тут опять объявился мальчик и, словно мы были ненаглядно прекрасны, восхищенно уставился на нас.

— А других археологов не было тут? — присев перед ним для удобства, спросил Иван Матвеевич.

— Нет, других не было, — хорошо подумав, ответил мальчик. — Шпионы были, но я проводил их уже.

— Ишь ты! — удивился Иван Матвеевич. — А что ж они здесь делали?

Мальчик опять заговорил, радуясь, что вернулась надобность в нём.

— Приехали, приехали и давай, давай старииков спрашивать. А главный всё пишет, пишет в книжку. Я сказал: «Ты шпион?» — а он засмеялся и говорит: «Конечно». И дал мне помидор. Потом говорит: «Ну, пора мне ехать по моим шпионским делам». А если пограничники будут меня ловить, скажи, уехал на Курганы». Но я никому ничего не сказал, только тебе, потому что он, наверно, обманул меня. И жалко его: он однорукий.

— Эх ты, маленький, расти большой, — сказал Иван Матвеевич, поднимаясь и его поднимая вместе с собой. Босые ножки полетали немного в синем небе и снова утвердились в пыли около озера. Я погладила мальчика по прозрачно-белым волосам, и близко под ними, пугая ладонь хрупкостью, обнаружилось теплое и круглое темя, вызывающее любовь и нежность.

На Курганах воскресенье шло своим чередом. По улице, с одной стороны имеющей несколько домов, а с другой — далекую и пустую степь, гулял гармонист, вполсилы растягивая гармонь. За ним, тесно взявшись под руки, следовали девушки в выходных ситцах, а в отдалении вились пыльное облачко детворы. Изредка одна из девушек выходила вперед всей

процессии и делала перед ней несколько кругов, притопывая ногами и выкрикивая частушку. Вроде бы и незатейливо они веселились, а всё же не хотели отвлечься от праздника, чтобы ответить на наш вопрос об археологах. Наконец выяснилось, что никто не видел крытой машины и в ней девяти человек с одноруким.

— Разве это археологи? — взорвался вдруг Ваня. — Это летуны какие-то! Они что, дело делают, или в прятки играют, или вообще с ума сошли?

— А ты думал, они сидят где-нибудь, ждут-пождут и однорукий говорит: «Что-то наш Ваня не едет?» — одернул его Иван Матвеевич и быстро глянул на нас: не обиделись ли мы на Ванину нетерпеливость?

У последнего дома мы остановились, чтобы опорожнить канистру с бензином для поддержки «газика», а Ваня расплакался на траве, обновляя мыльную заплату на бензобаке.

На крыльце вышла пригожая старуха, и Иван Матвеевич тотчас обратился к ней:

— Бабка, а не видела ты... — Он тут же осекся, потому что из бабушкиных век смотрели только две чистые, пустые, широко открытые слезы.

— Ты что примолк, милый? — безгневно отозвалась она. — Ты не смотри, что я слепая, может, и видела чего. Меня вон как давеча проезжий человек утешил, когда мою воду пил. Ты, говорит, мать, не скучай по своим глазам. У человека много всего человеческого, каждому калеке что-нибудь да останется. У меня, говорит, одна рука, а я ею землю копаю.

— Ну и бабка! — восхищенно воскликнул Иван Матвеевич. — Я ведь как раз этого однорукого ищу. Куда же он отсюда поехал?

— Отсюда-то вон туда, — она указала рукой, — а уж оттуда куда, не спрашивай — не знаю.

— Верно, вот их след, — закричал Ваня, — на полуторке они от нас удирают!

— Нам теперь прямая дорога в уголовный розыск, — заметил Иван Матвеевич, бодро усаживаясь за руль. — Иль в индейцы. Хватит жить без приключений!

У нас глаза сузились от напряжения и от света, летящего навстречу, в лицах появилось что-то древневоенное и не-преклонное. «Газик» наш — гулять так гулять! — неистово гремел худым железом, и орлы, парящие вверху, брезгливо пережидали в небе нашу музыку.

Вдруг нам под ноги выкатилась большая фляга, обернутая войлоком. Мы не могли понять, ни откуда она взялась, ни что в ней, но наугад стали отхлёбывать из горлышка прямо на ходу и скоро, как щенки, перемазались в белой сладости. Фляга ударяла нас по зубам, и мы хохотали, обливаясь молоком, отнимая друг у друга его косые всплески. Мы нацеливались на него губами, а оно метило нам в лицо, мгновенным бельмом проплывало в глазу и клеило волосы. Но когда я уже отступилась от погони за ним, перемогая усталость дыхания, оно само пришло на язык, и его глубокий и чистый глоток растворился во мне, напоминая Аню. Это она, волшебная девочка, дочь волшебницы, предусмотрительно послала мне свое крепкое снадобье, настоенное на всех травах, цветах и деревьях. И я, вновь похолодев от тоски и жажды, пригубила ее живой и добрый мир. Его дети, растения и звери приблизились к моим губам, влажно проникая в мое тело, и ничего, кроме этого, тогда во мне не было.

Подоследшие от тяжелого степного солнца, нетрезво звенящего в голове, мы снова попали в хвойное поднебесье леса. Он осыпал на наши спины прохладный дождь детских мурашек, и разомлевшее тело строго подобралось в его свежести. Никогда потом не доводилось мне испытывать таких

смелых и прихотливых чередований природы, обжигающих кожу веселым озном.

— Они в Сагале, больше негде им быть, — уверенно сказал Иван Матвеевич.

Мы остановились возле реки и умылись, раня ладони острым холодом зеленої воды.

На переправе мы хором, азартно и наперебой спросили:

— Был здесь грузовик с крытым кузовом?

— И с ним девять человек?

— Среди них — однорукий?

— И девушка? — мягко добавил Шура.

Не много машин переправлялось здесь в воскресенье, но старый хакас, работавший на пароме, долго размышлял, прежде чем ответить. Он раскурил трубку, отведал ее дыма, сдержанно улыбнулся и промолвил:

— Были час назад.

— Судя по всему, они должны быть в столовой, — обрадился Иван Матвеевич к Ване. — Как ты думаешь, следопыт?

— Я думаю, если они даже сквозь землю провалились, в столовую нам не мешает заглянуть, — решительно заявил Ваня. — Целый день не ели, как верблюды.

— Может, Ванюша, ты по невесте скучаешь? — поддел его Иван Матвеевич.

Он, видимо, чувствовал, что нам с Шурой всё больше делалось стыдно за их даром пропавшее воскресенье, и потому не позволял Ване никаких проявлений недовольства. Ваня ненадолго обиделся и замолк.

В совхозной чайной было светло и пусто, только два вместе сдвинутых стола стояли неубранными. Девять пустых тарелок, девять ложек и вилок насчитали мы в этом беспорядке, оцепенев в тяжелом волнении.

Я помню, что горе, настоящее горе осенило меня. Чем провинились мы перед этими девятью, что они так упорно и бессмысленно уходили от нас?

— Где археологи? — мрачно спросил Иван Матвеевич у розово-здоровой девушки, вышедшей убрать со стола.

— Они мне не докладывались, — с гневом отвечала она, — нагрязнили посуды — и ладно.

— Мало в тебе привета, хозяйка, — укорил ее Иван Матвеевич.

— На всех не напасёшься, — отрезала она. — А вы за моим приветом пришли или обедать будете?

— А были с ними однорукий и девушка? — застенчиво вмешался Шура.

Он уже второй раз с какой-то нежностью в голосе поминал об этой девушке: видимо, ее неопределенный, стремительно ускользающий образ трогал его своей недосягаемостью.

Но кажется, именно в этой девушке и крылась причина немилости, павшей на наши головы.

— У нас таким девушкам вслед плюют! — закричала наша хозяйка. — Вырядилась в штаны — не то баба, не то мужик, глазам смотреть стыдно. И имя-то какое ей придумали! Я Ольга, и все Ольги, а она Эльга! Знать, и родители ее бесстыдники были, вот и вышла Эльга! Одна на восемь мужиков, а они и рады: всю мою герань для нее обшипали. Отобедали — и ей, ей первой спасибо говорят, а уж за что спасибо, им одним известно.

— Как вам не стыдно! — не выдержал Шура. — Что она вам худого сделала? Ведь она работает здесь, одна, далеко от дома, думаете, легко ей с ними ездить?

— Что ты меня стыдишь? — горько сказала она, утихая голосом, и, поникнув розовым лицом на розовые локти, вдруг заплакала.

Иван Матвеевич ласково погладил ее по руке и поймал пальцем большую круглую слезу, уже принявшую в себя ее розовый цвет.

— Полно горевать, — утешал он ее, — у тебя слезинка — и та красавица. У них в городе всё по-своему. А ты меня возьми спасибо говорить.

— А сам, небось, поедешь ее догонять? — ответила она, повеселев и одного только Шуру не прощая взглядом. — Что есть будете?

Мы уже перестали торопиться и, ослабев, медленно ели глубокий, нежно-крепкий борщ и оладьи, вздыхающие множеством круглых ноздрей. Сильный розовый отблеск хозяйки как бы плыл в борще, ложился на наши лица, вода, подкрашенная им, отдавала вином. За окном близко от нас садилось солнце.

Рядом, опаляя ресницы, действовала вечная законо-мерность природы: земля и солнце любовно огибали друг друга, сгущались земные облака над деревьями, иные планеты отчетливо прояснялись в небесах.

Быстро темнело, и только женщина смирно как бы теплилась в углу. Усталость клонила наши головы, ничего больше нам не хотелось.

— Зато выспитесь сегодня, — осторожно сказала я Ивану Матвеевичу и Ване.

Они тут же вскочили.

— Поехали! — крикнул Иван Матвеевич.

Мы помчались, не разбирая дороги. Иногда одинокая фигура, темнеющая далеко в степи, при нашем приближении распадалась на два тоненьких силуэта и четыре затуманных глаза в блаженном неведении смотрели на нас. Тени встревоженных животных изредка пересекали свет впереди, и тогда Ваня в добром испуге хватался за рукав Ивана Матвеевича.

Никто из неспящих в этой ночи не знал об археологах. Раза два или три нас посыпали далеко направо или налево, и мы, описав долгую кривую, находили в конце ее геологов, метеорологов, каких-то студентов или неведомых людей, тоже чего-то ищущих в Сибири.

Мы давно уже не знали, где мы, когда Иван Матвеевич с тревогой признался:

— Кончается бензин, меньше нуля осталось.

Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький оранжевый огонь. Наш «газик» всё-таки дотянул до него из последних сил и остановился. Возле грузовика, стоящего поперек дороги, печально склонившись к скучному костру, воняющему резиной, сидел на земле человек.

— Браток, не одолжишь горючего? — с ходу обратился к нему Иван Матвеевич.

— Да понимаешь, какое дело, — живо отозвался тот, поднимая от огня яркое лицо южанина, — сам стою с пустым баком. Второй час уже старую запаску жгу.

Он говорил с акцентом, и из речи его, трудно напрягающей горло, возник и поплыл на меня город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам и не утихающий ночью, в марте горько расцветающий миндалём, в декабре гордо увяддающий платанами, щедро одаривший меня добром и лаской, умудривший мой слух своей огромной музыкой. Не знаю, что было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось, что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани.

Иван Матвеевич и Ваня грустно, доверчиво и словно издалека слушали, как мы с этим шофером говорим о его стране, называя ее странным именем «Сакартвело».

Между тем становилось очень холодно, это резко континентальный климат давал о себе знать, остужая нас холodom после дневной жары.

Все они стали упрашивать меня поспать немного в кабине. Я отказалась и сразу же заснула, склонившись головой на колени.

Очнулась я среди ватников и плащей, укрывших меня с головой. Озябшее тело держалось как-то прямоугольно, онемевшие ноги то и дело смешно подламывались. Было еще бессолнечно, но совсем светло. Иван Матвеевич и тот шофер, сплевывая, отсасывали бензин из шланга, уходящего другим концом в глубину бензовоза, стоящего поодаль. Его водитель до упаду смеялся над нашими бледно-голубыми лицами и нетвердыми, как у ягнят, коленями.

— И этакие красавцы чуть не погибли в степи! — веселился он. — Из-за бензина! А у меня этого добра целая бездонность. Так бы и зимовали тут, если б не я.

Но Иван Матвеевич и Ваня, пригорюнившись с утра, ничего не отвечали.

У грузина под сиденьем припрятана была бутылка вина. Мы позавтракали только этим вином, уже чуть кислившим, но еще чистым и щекотным на вкус, и вскоре простились. Пыль, разбуженная двумя машинами, рванувшимися в разные стороны, соединилась в одну хлипкую, непрочную тучку, повисела недолго над дорогой и рассеялась.

Мы все молчали и словно стеснялись друг друга. Красное, точно круглое солнце понедельника уже отрывалось от горизонта. Мы никого больше не искали, мы возвращались, до Тумы было часа четыре езды.

И тут что-то добро и тепло обомлело там, в самой нашей глубине, видимо, слабое вино, принятое натощак, всё же оказывало свое действие. Как долго было всё это: из маленького, кислого, зеленого ничего образовывалось драгоценное, округлое тело ягоды с темными сердечками косточек под прозрачной кожей; всё тягостнее, непосильней, томительней гроздь угнетала лозу; затем, бережно собранные воедино,

разбивались хрупкие сосуды виноградин, и освобожденная влага опасно томилась и пенилась в чане; старик кахетинец и его молодые красивые дети, все умеющие петь, помещали эту густую сладость в кувшины с коническим дном, зарытые в землю, и постепенно укрощали и воспитывали ее буйность. И всё затем, чтобы в это утро, не принесшее нам удачи, мы испытали неопределенную радость и доброту друг к другу. Мы сильно, нежно ни с того ни с сего переглянулись вчетвером в последний раз в степи, под солнцем, уже занявшим на небе свое высокое неоспоримое место.

У переправы через Гутым сгрудилось несколько машин, ожидающих своей очереди. Мы пошли к реке, чтобы умыться. Там плескался, зайдя в воду у берега, какой-то угрюмый человек, оглянувшись на нас криво и подозрительно.

— Возишь кого или сам начальство? — спросил он у Ивана Матвеевича, обнажив праздничный самородок зуба, недобро засиявший на солнце.

— А черт меня знает, — рассеянно и необщительно ответил Иван Матвеевич.

— Ну а я сам с чертом одноруким связался. Замучили совсем, гробокопатели ненормальные, день и ночь с ними разъезжаю — ни покушать, ни пожрать, да еще землю рыть заставляют.

Вяло обмерев, слушали мы, как он говорит со злорадством и мукой, выдыхая свое золотое сияние.

— Где они? — слабо и боязливо выговорил Иван Матвеевич.

— Вон, вон! — в новом приливе ожесточения забубнил человек, протыкая воздух указательным пальцем. — То носились, как угорелые, а теперь палатки поставили и сидят, ничего не делают.

В стороне, близко к воде, и правда, белело несколько маленьких палаток, а между ними деловито и начальственно расхаживала тоненькая девушка в брюках и ковбойке.

Иван Матвеевич и Ваня, обгоняя друг друга, бросились к ней и разом обняли ее.

Холодно и удивленно отстранила она их руки и, отступив на шаг, сурово осведомилась:

— В чем дело?

— Вы археологи? Вас Эльга зовут?

— Да, археологи, да, Эльга, — строго и нетерпеливо продолжала она.

И тогда оба они увидели ее, надменную царевну неведомого царства, в брюках, загадочно украшенных швами и пуговками, с невыносимо гордой ее головой на непреклонной шее.

Отдалившись от нее, Иван Матвеевич, смущившись, стал сбивчиво оправдываться:

— Мы... ничего не хотим, тут вот товарищи из Москвы... всё разыскивали вас...

— Где?! — воскликнула девушка и радостно и недоверчиво посмотрела на меня и Шуру, склонив набок голову. — Вы, правда, из Москвы? — заговорила она, горячо схватив нас за руки. — Когда приехали? Что там нового? Мы же ни чего не знаем, совсем одичали! Какое счастье, что вы нас разыскали! И как кстати: мы тут нашли одну замечательную вещь! Да идемте же, что мы стоим, как дураки! Как вы нас нашли, мы ж всё время мчались, намечали план раскопок!

Какие-то молодые люди обступили нас со всех сторон, тормозили, обнимали, расспрашивали и все кричали наперебой, как будто это они догнали нас наконец в огромном пространстве.

Мы с Шурой совсем растерялись. Вот они все тут, рядом, уже не отделенные от нас горизонтом: семь человек,

девушка и вышедший из-за деревьев, ярко охваченный солнцем, смуглый, узкоглазый, однорукий.

— Это наш профессор, — шепнула Эльга, — он замечательный, очень ученый и умный, на вид строгий, а на самом деле преданный.

Профессор крепко, больно пожал нам руки. Он, видно, был хакас и глядел зорко, словно прищурившись для хитрости.

Мы радостно оглянулись на Ивана Матвеевича и Ваню и вдруг увидели, что их нет. Как это? Мы так привыкли к тесной и постоянной близости этих людей, что неожиданное, немыслимое их отсутствие потрясло нас и обидело.

— Постойте, — сказал Шура, пробиваясь сквозь археологов, — где же они?

— Кого вы ищете? — удивилась Эльга. — Мы все здесь.

Еще обманывая себя надеждой, мы обыскали весь берег и лес около — их нигде не было. Золотозубый стоял на прежнем месте и, погруженный в глубокое и мрачное франтовство, налаживал брюки, красиво напуская их на сапоги.

— Тут было двое наших, не видели, куда они делись? — обратился к нему взволнованный Шура.

— Это почему же они ваши? Они сами по себе, — отозвался тот, выплюнув молнию. — Ваши вон стоят, а те — на работу, что ли, опаздывали да не хотели вас отвлекать своим прощанием, велели мне за них попрощаться. Так что счастливо.

Как-то сразу устав и помертвев, мы побрали назад, к поджидавшим нас археологам. Все они вдруг показались нам скучно похожими друг на друга: Эльга — жестокой и развязной, однорукий — чопорным. Мы и тогда знали, конечно, что это не так, но все же дулись на них за что-то.

Целый день мы записывали их рассказы: о их работе, о Тагарской культуре, длившейся с седьмого по второй век до

нашей эры. Мне тоскливо почему-то подумалось в эту минуту, что всё это ни к чему.

— Мы напишем прекрасную статью, романтическую и серьезную, — ласково ободрил меня Шура.

— Да, — сказала я, — только знаете, Александр Семенович, вы сами напишите ее, а я придумаю что-нибудь другое.

Вечером разожгли костер, и с разрешения профессора нам торжественно показали находку, которой все очень гордились.

Это был осколок древней стелы, случайно обнаруженной ими вчера в Курганах. Эльга осторожно, боясь вздохнуть, поднесла к огню небольшой плоский камень, в котором первый взгляд не находил ничего примечательного. Но, близко склонившись к нему, мы различили слабое, нежное, глубоко высеченное изображение лучника, грозно поднимающего к небу свое бедное оружие. Какая-то трогательная неправдоподобность была в его позе, словно это рисовал ребенок, томимый неосознанным и могучим предвкушением искусства. Две тысячи лет назад и больше кто-то кропотливо трудился над этим камнем. Милое, милое человечество!

В лице и руках Эльги ясно отражался огонь, делая ее трепетной соучастницей, живым и светлым языком этого пламени, радостно нарушающего порядок ночи. Я смотрела на славные, молодые лица, освещенные костром, выдающие нетерпение, талант и счастливую углубленность в свое дело, лучше которых ничего не бывает на свете, и меня легко коснулось печальное ожидание непременной и скорой разлуки с этими людьми, как было со всеми, кого я повстречала за два последних дня или когда-нибудь прежде.

— Как холодно, — сказала Эльга, поежившись, — скоро осень.

Я тихонько встала и пошла в деревья, в белую мглу тумана, поднявшегося от реки. Близкий огонь костра, густо

осыпающиеся августовские звёзды, теплый, родной вздох земли, омывающий ноги, — это было добрым и детским знаком, твердо обещающим, что всё будет хорошо и прекрасно.

И вдруг слёзы, отделившись от моих глаз, упали мне на руки. Я радостно засмеялась этим слезам и всё же плакала, просто так, ни по чему, по всему на свете сразу: по Ане, по лучнику, по Ивану Матвеевичу и Ване, по бурундуку, живущему на горе, по небу над головой, по этому лету, которое уже подходило к концу.

1963

БАБУШКА

Чаще всего она вспоминается мне большой неопределенностью, в которую мягко уходят голова и руки, густым облаком любви, сомкнувшимся надо мной, но не стесняющим моей свободы, — бабушка, ещё с моего младенчества, как-то робко, восхищённо, не близко любила меня, даже ласкать словно не смела, а больше смотрела издалека огромными, до желтизны посветлевшими глазами, пугавшими страстным выражением доброты и безумия, навсегда полупротянув ко мне руки. Только теперь они успокоились в своей застенчивой, неутоленной алчности прикоснуться ко мне.

Я вообще в детстве не любила, чтобы меня трогали. Гневный, капризный стыд обжигал мою кожу, когда взрослые привлекали меня к себе или видели раздетой. Особенно жестоко стыдилась я родных — к немногим людям одной со мною крови, породившим меня, я навсегда сохранила неловкую, больную, кровавую корявость, мукой раздирающую организм. Даже Рома, собака моя, тесно породнившись со мной за долгое время моей одинокой, страстной близости к нему, повторяющий мои повадки, очень известный мне, умеющий глянуть на меня взором бабушкиного прощения, подлежит в какой-то мере этой тяжелой сложности, мстящей за физическое единство.

К чужим у меня не было такой резкости ощущений, такой щепетильности тела. Однажды дурной, тёмный человек, по-

павший в дом, когда никого не было, кроме домработницы Кати, нечистой своею рукою попытался погладить мою детскую голову. Я брезгливо, высокомерно оттолкнула его. Но стыда во мне не было, даже когда вошла Катя и кокетливо улеглась животом на подоконник, открыв безобразные, закованные в синие штаны ноги.

Зато, когда мать захотела сняться в море со мной, восьмилетней и голой на руках, я бросилась бежать от неё, оступаясь на камнях гудаутского пляжа, и долго ещё смотрела на неё восточным, исподлобным способом, которым очень хорошо владела в детстве.

Но бабушка, может быть, именно из-за безумия, кротко жившего в ней, своей влюбленной в меня слепотой чутко провидела кривизну моих причуд и никогда не гневила моего гордого и придирчивого детского целомудрия. Казалось, ей было достаточно принять в объятия воздух, вытесненный мной из пространства, ещё сохраняющий мои, только для неё заметные, контуры.

Степень моего физического доверия к родным установилась обратно моей к ним причастности: бабушка, тётка моя Христина, потом мама.

В баню я ходила только с бабушкой, но и тогда я не испытывала непринужденности моющегося ребенка, снисходительно выставляющего под мочалку руку и ногу. Пребубежденным глазом злого начальника, ищащего желанного изъяна, я, сквозь боль мыла, косилась на бабушку, на её маленькое жалкое тело с большой, подрагивающей головой, на белую седину которой нанесена трудно смыывающаяся пестрота — она всегда пачкалась о Христинины краски, на нетвердые беленъкие ноги. И злорадно заметив ее бедно поникший живот с уголком козье-седых слабых волос, в каком-то злобном отчаянье толкала его серым остриём шайки.

По двум старым, чудом уцелевшим, фотографиям можно судить, что бабушка была очень высокая — много выше мужчины в нарядных праздничных усах, запечатлённого рядом с ней, сильно и угрюмо стройная, с мощно-свободной теменью итальянских волос, с безмерными глазами, паническая обширность которых занесена в недобро предвидение какого-то тщетного и гибельного подвига. В крупном смуглом лице — очевидная скрытость тайны. В наклоне фигуры, подавшейся вперёд, ощущается привольное неудобство, как если бы она стояла на высоком и узком карнизе.

У неё было четыре мужа, трое детей — девочка Елена умерла в младенчестве — и одна внучка. Может быть, из-за этой, всё упрощающей единственности моей, бабушка, холдком осенившая мужей, неточно делившая любовь между дочерьми, с болью и скрипом резкого торможения, свою летящую, рассеянную, любвеобильную душу остановила на мне. Её разум, тесный для страстного неразумия, которым она захворала когда-то, мятущийся, суматошный, не прекративший своего ищущего бега даже перед преградой лечения, неопределенно тоскующий о препятствиях, замер наконец и угомонился под спасительным шоком моего появления на свет. Бабушкины разнонаправленные нервы, легко колеблемые жалостью, любопытством, вспыльчивостью переживаний, влюбчивостью во всё, — конически, конечно, сосредоточились на мне, и это не было моей заслугой, — бабушка заранее, за глаза, неистово, горько и благовейно полюбила меня 10 апреля 1937 года.

В детстве я знала, что бабушка родилась давно, в Казанской губернии. Её девичью фамилию внёс в Россию её дед, шарманщик и итальянец. Я думаю теперь — что привело его именно в эту страну мучиться, мёрзнуть, уморить обезьяну, южной мрачностью дикого взора растлить невзрачную барышню, случайно родить сына Митрофана — и всё

там, близко к Казани, где его чужой, немыслимый брат по скучному небу, жёлтый и раскосый, уже хлопотал, трудясь и похохатывая, уже вызывал к жизни сына Ахмадуллу, моего прадеда по отцовской линии. Какой долгий взаимный подкоп вели они сквозь непроглядную судьбу, чтобы столкнуться на мне, сколько жертв было при этом. Отец бабушки был доктор, в Крымскую кампанию врачевавший раненых, мать смелым и терпеливым усилием практического и тщеславного ума обрела дворянство и некоторое состояние. У них, сколько я помню по моим детским слушаниям, было шестеро детей обоего пола поровну. Старшие сыновья, своеольные и дерзкие, дырявили из рогаток портреты не очень почтенных предков, привязывали бабушку за ногу к столу и учились в кадетском корпусе. Что с ними, бедными, любимыми мной, плохими, дальше случилось в этом мире, я не знаю. Младший, несколько флегматичный и очень честный и добрый, стал известным революционером. Бабушка только с ним, до его смерти, держалась в родстве, восхищалась им, и мне казалось, что в ней навсегда задержалась нежная благодарность к нему за то, что он не привязывал её за ногу. Мне и от других людей доводилось слышать, что он всегда был честен и добр, но его точной яркости я не усвоила. Старшие сёстры бабушки Наталия и Мария Митрофановны были красавицы, певшие прекрасно, сильно итальянского облика и нрава, надолго заключённые в девичество корыстью матери и вступившие обе в трагический брак. Они жили какими-то порывами несчастий и умерли в сиротстве, украшенном глубоким психическим недугом. Моя мать помнит одну из них, ещё прекрасную, но уже казнённую болезнью, жадной судорогой тонких рук собирающую, выпрашивающую, ворующую разные ничтожные вещицы. Видимо, тяжело оскорблённая в своей красоте и бескорыстии павшей на неё тенью

великих светил: Жизни, Любви, Надежды, — она доверяла только маленьkim и безобидным солнышкам мира: жестяным баночкам, стекляшкам, конфетному серебру, осколкам зеркал, утешаясь их кротким, детским блеском. У бабушки, хотя болезнь давно оставила её, тоже сохранилась страсть к пустяковым предметам, но она строго выбирала из них только те, которые казались ей отмеченными милостью моего следа: мои коробки, обёртки моих конфет, обрывки моих рисунков, благодарности и письма печатными буквами многим животным моего детства. Всё это и посейчас цело или исчезло вместе с ней, копившей их так сквердно и любовно...

Бабушка была самым младшим, некрасивым и нелюбимым ребёнком в семье. Вероятно, мать её к тому времени уже устала бороться, терпеть тяжелое хозяйство, принимать в себя острую, ранящую её тело итальянскую кровь и разводить её своей негустой, российско-мещанской кровью, чтобы смягчить черноглазие и безумие будущих детей, которые все разочаровывали и охладили её своими неудачами. Я думаю, что ей, властным и равноправным участием скучного организма, кое-как удалось полуспасти, полуисправить судьбы всех её потомков: благодаря её трезвому здоровью безумие в нашей семье всегда было не окончательным, уравновешенным живой скучностью быта, страшная чернота зрачков подкрашена ленивой желтизной, неимоверному, гибельному запросу глаз отвечают бесплодность и скука существования. Но я всё же надеюсь — может быть! — свежее азиатство отца, насильным подарком внесённое в путаницу кровей, освободит меня от её опрометчиво-осторожного полуколдовства, даст мне жить и умереть за пределами тусклости, отвоёванной ею у трагедии!

Будучи маленькой гимназисткой, бабушка, всей страстью сиротливой замкнутости, полюбила старшую воспитанницу, которая оказывала ей снисходительное покровительство,

звала «протежешкой» и потом осмеяла во всеуслышание бабушкины детские дневники, доверенные ей порывом признательности. Подобные истории случаются со всеми детьми, но бабушке никогда не удавалось вырасти из тихой, почти юродивой безобидности, непременно вызывающей злые проявления старших и сильных характеров. Уже в конце бабушкиной жизни, чем фантастичнее, карикатурнее становились её доброта и кротость, тем яростнее они гневили и смешили соседей и прохожих, передразнивавших её сбивчиво-возвышенную речь, брезгувших разведённым ею зверинцем, презирающих даже её бескорыстие к еде, которую бабушка пробовала укрощать на кухне, но всегда выходила побеждённой из неравной схватки с кастрюлей или сковородкой. Кроме того, постаревшую бабушку в магазинах стали принимать за еврейку, и она кротко сносила и этот, уже лишний, гнев.

В какое-то время юности бабушка была в гувернантках в семье Залесских, людей богатых, весёлых, забывавших её обижать. И только младшая их дочь Зинаида немного терзала бабушку резкостью нрава и неожиданностями рано и дерзко созревшего организма. Бабушка однажды вспомнила об этом, но почему-то и мне запомнилась их фамилия, беззаботный дом и большой сад, с горы впадающий в реку, и то, как они на лодках отправились на пикник, не взяв с собой бабушку и Зинаиду, и Зинаида, стоя на ветру горы, кричала им вслед: «Я, Зинаида Залесская, пятнадцати лет, желаю кататься на лодке!»; а когда, не вняв ей, они скрывались из виду, восклекнула с весёлым высокомерием, дернув крючки, соединяющие батист: «Дураки! Смотрите! У меня грудь и всё остальное взросле и лучше, чем у мадемузель Надин!» Бабушка отчетливо помнила и любила всё, что противостояло её скромной тишине, видимо, тоскуя по бурности, которую велел ей шальной юг шарманщика и возбраняла жесткая

умеренность матери. А я не забыла этого пустяка потому, что он жил там, где я хотела бы жить: в том доме, в том саду, в той единственной стране, осенившей меня глубоким ностальгическим переживанием, которую я, читая любимые книги, не узнаю, а будто вспоминаю — как древнюю жизнь в колыбели, откуда меня похитили кочевники.

Под влиянием доброго брата, поддерживающего её в семейной одинокой угнетенности, бабушка резко рассталась с семьей и уехала в Казань на фельдшерские курсы. (Я перечисляю, сколько помню, её жизнь не потому, что события её сюжета представляются мне эффектными и замечательными, а скорее изуважения к ореолу многозначительной жалкости, бледно взошедшему над всеми нами, скучной полутьмой наших драм, а также пробуя объяснить образ бабушки, лишённый яркого остряя, остро и больно поразил моё зрение и не раз мягко одёрнул меня в самонадеянности или начале бесполезного зла.) Она увлеклась идеями свободы и равенства, участвовала в сходках и маёвках, хранила за корсетом прокламации и возглавляла недолгий революционный кружок. Две товарки по этому кружку более полувека спустя отыскали и проводали бабушку в её узкой, длинной, холодной комнате, имеющей в виду закалить человека перед неудобствами кладбища. Чопорные, чёрно-нарядные, вечно-живые старухи с брезгливым ужасом переступили порог бабушкиного беспорядка, подхватив юбки над опасным болотом пола, населенного нечистью наших зверей. Рассерженные глубиной её падения, словно и на них бросавшего обидную тень, они строго и наставительно говорили с бабушкой, грозно убеждали её добиться увеличения пенсии, сияя лакированными револьверами чёрных ботинок. Она безбоязненно летала вокруг них на нечистых бумазейных крыльях, умилённо лепеча и не слушая, всему поддакивая непрочным движением головы, совала им белый чай, конфеты, слипшиеся в соты,

ливерную колбасу, предназначенную коту, тут же отнимала всё это, освобождая их руки для моих детских рисунков и стихов. И, в довершение всего, сначала объявила — чтобы подготовить их к счастливому потрясению, а затем уже привела маленькую и угрюмую меня как лукаво скрытый от них до времени, но всё объяснивший наконец довод её ослепительного и чрезмерного благополучия. Они холодно и без восхищения уставились на мой бодающе-насупленный лоб и одновременно пустили в меня острые стрелы ладоней. Это, видимо, несколько повредило им в глазах бабушки, потому что вдруг она глянула на них утемневшейся желтизной зрачков с ясным и весёлым многознанием высокого превосходства. Мы вышли провожать их на лестницу, и бабушка снова радостно лепетала и ветхо склонялась им вслед, туманно паря над двумя чёрными и прямыми фигурами, сложенными в зонты.

Молодую бабушку то и дело сажали в тюрьму: по чьим-то оговоркам и оговорам, по неспособности охранить себя от расплохов слежки и обысков, по склонности, радостно и отвлеченно увеличив глаза, принять на себя всеобщую вину революционных проступков. Жандармы упорно и лениво, как спички у ребёнка, постоянно отбирали у бабушки саквояжи с двойным дном, и привычным жестом — пардон, мадемузель, — извлекали папиресную бумагу, адресованную пролетариям всех стран, из горячей тесноты ворота.

Последним, некрасивым и нелюбимым ребенком родилась и росла бабушка и в этой же неказистой, несмелой осанке прожила долгую жизнь. Детский страх перед собственной нежеланностью и обременительностью и в старости сообщал её облику неуверенное, виноватое, стыдливое выражение.

Более всего и ужасно, до своевольного хода подрагивающих головы и рук, бабушка суетливо боялась, как боятся бомбёжки, принять на себя даже мельк чьего-нибудь внимания.

ния, худобой своей, округленной в спине, загромоздить пространство, нужное для движения других людей. Старея, бабушка становилась всё меньше и меньше, словно умышленно приближала себя к заветной и идеальной малости, уж никому не нужной и не мешающей, которую обрела теперь, нищей горсточкой пыли уместившись в крошечный и безобразный уют последнего прибежища.

Несмотря на грозные скандалы моей матери, бабушка, настойчиво и тайком, почти ничего не ела, словно стыдясь обделить вечно открытый, требующий, ненасытный рот какого-то неведомого птенца, и, чтобы задобрить алчность чьего-то чужого голода, угнетающего её, она подкармливала худых железных котов, со свистом проносящихся над помойкой нашего двора, и прожорливую птичью толчею на подоконнике.

К маминому неудовольствию и стыду перед соседями, бабушка одевалась в неизменный гномий неряшлиwyй бумазейный балахон, в зимнее время усиленный дополнительной ветошью, и спала на застиранной, свято и смело оберегаемой, серенькой тряпице — восемьдесят лет искупая вину изношенных в детстве пелёнок и рубашек, угрюмо пересчитанных её матерью, страстно боявшейся смерти своего добра, в муках порождённого ею.

Её суровая, непреклонная мать всё чаще покидала гаснущее имение на произвол пьяных и сумасшедших людей, чей хоровод жутко смыкался вокруг подвига её здравомыслия, и падала ниц, смущая немилосердные начальственные ноги, чтобы прижать к груди большую голову нелюбимого ребёнка.

Бабушка вступила в фиктивный брак с молодым революционером, нужный ему для разрешения на выезд, и на всегда сохранила фамилию, дарованную ей этим бедным условным венчанием. Бабушка увезла его за границу, но Швейцария только усугубила его болезнь, выбирающую лёг-

кие исступленных людей; им надлежало срочно вернуться, но здесь имела место смутная, нечистая история с растратой денег, нужных для этого, какими-то товарищами, на счастливые десятилетия пережившими жертву своей неаккуратности, — бабушка никогда не говорила об этом. Наконец, они попали на юг России, как неблагонадёжные люди, по случаю проезда царя были на три дня заключены в тюрьму, где иссякла не знавшая удержу кровь первого бабушкиного мужа.

Это было в самом начале века, ещё до революции пятого года, и с этого времени, во всяком случае по моим детским представлениям, начался несердцебиенный, полусонный провал бабушкиной жизни. Но, вероятно, я недооценивала его горестной остроты: бабушка в Нижнем Новгороде родила Христину, была окончательно отвергнута семьёй и, оставшись без средств, отправилась в Донбасс на эпидемию холеры. Там она долгое время работала и жила во флигеле на больничном дворе, подвергая постоянной опасности старшую дочь и спустя несколько лет родившуюся маму (мама болела в лад со всеми, кто болел под бабушкиным присмотром). Четвёртый муж бабушки, тот, украшенный усами, тяжело любил её, теряя достоинство скромного мещанина, удочерил её детей и был им добрым отцом, пока и его не скрыл туман, завершивший все линии бабушкиной судьбы. Бабушка по мере сил воспитывала дочерей, учila их рисованию, языкам и музыке, к которым они обе не были расположены. Христина так и не научилась ничему, даже живописи, которую она всю жизнь любила так безответно, а мама, усилием маленького поврежденного болезнями тела, — всему. Но только Христина умеет любить, жалеть и прощать. Разумеется, и жизнь на скучном, нищем руднике не обошлась без неизлечимо-буйной женщины, вырывавшейся подчас на гадкий простор больничного двора: нагая, в нечистом вихре ве-

ликих волос являлась она на пыльное солнце мгновенной свободы, чтобы диким криком «Изыди, сатана!» огласить детство мамы и тётки, даже меня напугать воспроизведением страшного «ыканья» этой мольбы, предупреждающего о му- чительном и непосильном гнёте: «Изы-ы-ди!»...

То, что бабушка была «милосердной сестрой»—«чьей»— «всех кому нужно», — в раннем детстве было понятно и использовано мной. К ней, к её сестринскому милосердию, та- щила я многочисленных слабых уродцев, отвергнутых моей мамой: белого щенка с огромным розовым животом, слепую морскую свинку, кролика с перебитыми ногами, кошек, бес- крылых птиц и других убогих животных, чьи мелкие тела оказались огромно-лишними в избытке мира и униженно существовали вне породы. Бабушка всех их принимала в своё тёмное гнездо, равно воздавая им почести, заслуженные рождением. От неё, ныне мёртвой, научилась я с нежным уважением выговаривать удивлённо и нараспев: «Ж и в о е...» — стало быть, хрупкое, беззащитное, нуждающееся в помощи и сострадании. Однажды, когда тиканье малых пульсов, насе- ливших её комнату, грозило перерасти в сокрушительный гул, я купила и принесла домой только что вылупившегося инкубаторного цыплёнка, и мама, не допустив меня к бабуш- ке, будто навсегда захлопнула передо мной дверь в той не- победимой строгости, которая подчас овладевала ею и с ко- торой ничего нельзя было поделать. Поникнув плачущей го- ловой, я медленно спустилась по лестнице и уселась на пол за дверью, охраняя ладонью крошечную желтизну, осуждён- ную и проклятую великим миром. Я слышала, как мимо про- шёл наверх отец, другие матери звали других детей, и мне страшно представилось, что я буду сидеть здесь всегда, зак-лючённая в тюрьму между стеной и дверью. Двадцать лет спустя я помню, что мне пришла сложная, горячая мысль убить маленькое вздыхающее горло, и я примерила круг двух

пальцев к узкому ручейку крови и воздуха, беззащитно текущему сквозь него. Но пальцы мои не сомкнулись — раз и на всегда, я радостно, свежо заплакала над своим и всеобщим спасением, и, в благодарность Бога мне, надо мной тут же склонилась отыскавшая меня бабушка и немедленно вознесла меня и цыплёнка в спасительный рай своей любви, пахнущий увядшим тряпьём и животными.

Мы все очень боялись крыс после того, как, вернувшись из эвакуации, долго выпрашивали у них возможность жить в своём доме, но ночам чувствуя на себе острый двухогоньковый взор, не предвещающий добра, но и их нам с бабушкой довелось простить. Военный, охраняющий соседнее учреждение, смеясь испугу дстворы, вышвырнул носком сапога большую, рыжую, в кровь полуубитую крысу. Оставшись наедине с ней на мостовой переулка, исподлобья оглянувшись на весёлого военного, я торжественно пересилила содрогание тела, близко нагнулась и взяла её в руки. Крыса ярко глядела на меня могучим взглядом ненависти, достойным красивого сильного животного, как будто именно отвращение ко мне было причиной её смерти. Я повлекла ее всё в том же единственном направлении, где моя свобода была безгранична, и, наверно, моя чистая жалость к живому укреплялась злорадным измывательством над собой и, в отношении бабушки, некоторой ядовитостью, желавшей подразнить и испытать её вседоброту. Но бабушка, не знавшая такой сложности, без гнева и удивления увидела меня с умирающей крысой в руках, осенив нас ясным, односмысленным вздохом сострадания.

Ещё и теперь плывёт, доплывает бедный бабушкин ковчег, уже покинутый ею, не управляемый рассеянной старенькой Христиной, спасающей бледного, розового кота Петю и целое племя некрупных, лепечущих голубей.

Бабушка не то что была щедра — просто организм её, лёгкий, простой, усечённый недугом странности, уместил в своём ущербном полумесяце только главное: любовь и добро, не усвоив вторых инстинктов: осторожности, бережливости, зависти или злобы.

Она суеверно тяготилась всяким довольством, даже нишью пенсию вкладывала для меня и для Христины в толстую книгу о детских болезнях, лежавшую на виду, — как помнится мне эта книга, привыкшая открываться на одной странице, изображающей больного засохшего ребёнка с упавшей головой и нескрытым обилием рёбер и костей, не сумевших помочь его прочности. Там-то и хранилось бабушкино богатство, словно принесённое в жертву маленькому нездоровому богу, достойному всей жалости мира. (Ключа у бабушки и подавно не было, и однажды кто-то насмешливо ограбил этого хилого заветного младенца.)

Как-то летом, на все свои праздничные деньги, я приобрела дюжину серебряных ёлочных слонов — меня почему-то до беспокойного, сводящего с ума ощущения щекотки поражало большое количество одинаковых предметов. Порицаемая и осмеянная всеми, я с одиноким рёвом уткнулась в бабушку, и она, подыгрывая то ли моему детскому безумию, то ли безумию старших сестёр, восхищённо взорвалась на тупое, дикое, слоновье серебро, сбивчиво прославляя мою удачу. Мы купили ещё восемь слонов, обеднив рахитичного бога, — у меня засвистело, засверкало в мозгу — и, захлебываясь смехом, стали всех их раздавать или тихонько подсовывать детям в Ильинском сквере, почти никто не брал, и бабушка испуганно улепётывала вместе со мной, шаркая обширной рванью обувь.

И, вероятно, не моя доброта велит мне спяну или всерьёз освобождаться от лёгкой тяжести имущества, а весёлая бабушкина лень утруждать себя владением.

Бабушка до предпоследнего времени много и живо читала, просто и точно различая плохие и хорошие книги слабым, помноженным на стёкла зрачком, много раз изменившимся в цвете, уже поголубленном катарактой. Она не умом рассуждала чтение или слушание, а всё той же ограниченностью в добре, не знающей грамоты зла. Вообще, она ведала и воспринимала только живые, означающие слова, чья достоверность известна ощупи, всякое пустое, отвлечённое многословие обтекало её, как чужая речь. Когда с маминой работы явилась комиссия проверять и осуждать моё воспитание, бабушка долго, почтительно, натужно подвергала ухо красноречию, трудному для неё, как не-музыка, и вдруг, поняв телом реальный смысл моего имени, мигом разбралась во всём и, страшно тряся головой, возобновив болезнь голоса, крикнула: «Вон!»

Бабушка восхищалась мной непрестанно, но редким моим удачам удивлялась менее других — уж она-то преду-смотрела и преувеличила их заранее. Что бы ни стало со мной, уж никому я не покажусь столь прекрасной и посильной для зрения, только если притупить его быстрым обмороком любви, влажно затемняющим веки.

Последний раз, после долгого перерыва, я увидела бабушку уже больной предсмертием, поровну поделившим её тело между жизнью и смертью, победившим, наконец, все её привычки: чистая, на чистом белье, с чистой маленькой успокоенной головой лежала бабушка и с ложечки ела протёртые фрукты, о которых прежде думала, что они для меня лишь полезны и съедобны.

— Подожди, — прошептала Христина, заслоняя меня собой, — я сначала предупрежу ее.

Но она долго не могла решиться, боясь, что имя моё, всегда потрясавшее бабушку, теперь причинит ей вред.

— Мама, — осторожно и ласково сказала Христина, — только ты не волнуйся... к тебе Беллочка пришла...

— А, — равнодушно отозвалась бабушка половиной губ и голоса.

И вдруг я узнала свой худший, невыносимый страх, что Христина сейчас отойдёт, и я увижу, и у меня уже не будет той моей бабушки, которая не позволит мне увидеть эту мою бабушку, как никогда не позволяла ничего, что может быть болью и страхом.

Всё же я присела на край её чистой постели и слепым лицом поцеловала её новый чистый запах.

— Скоро умру, — капризно и как будто даже кокетливо сказала бабушка, но мне всё уже было безразлично в первой, совершенной полноте беды, каменно утяжелившей сознание.

На мгновение живая сторона бабушкиного тела, где сильно, предельно умирало её сердце, слабо встрепенулась, сознательно прильнула ко мне неполной теплотой, и один огромный, бессмертно любовный глаз вернулся ко мне из глубины отсутствия.

— Иди, я устала, — словно со скучой выговорила бабушка и добавила: — Убери, — имея в виду тоскующего, потускневшего Петьюку, жавшегося к ней. Видимо, всё, что она так долго любила и жалела, теперь было утомительным для неё, или, наоборот, она ещё не утомилась любить и жалеть нас и потому отстраняла от себя сейчас.

Август 1963

МНОГО СОБАК И СОБАКА

Посвящено Василию Аксенову

...Смеркалось на Диоскурийском побережье... — вот что сразу увидел, о чём подумал и что сказал слабоумный и немой Шелапутов, ослепший от сильного холодного солнца, айсбергом вплывшего в южные сады. Он вышел из долгих потемок чужой комнаты, снятой им на неопределенное время, в мимолетную вечную ослепительность и так стоял на пороге между тем и этим, затаившись в убежище собственной темноты, владел мгновением, длил миг по своему усмотрению: не смотрел и не мигал беспорядочно, а смотрел, не мигая, в близкую преграду сомкнутых век, далеко протянув разъятые ладони. Ему впервые удалось общая бестрепетная недвижность закрытых глаз и простертых рук. Уж не исцелился ли он в Диоскурийском блаженстве? Он внимательно ранил тупые подушечки (или как их?..) всех пальцев, в детстве не прозревшие к черно-белому Гедике, огромным ледяным белым светом, маляя его невидимые острия очевидными капельками крови, проницательной ощущью узнавая каждую из семи разноцветных струн: толстая фиолетовая басом бубнила под большим пальцем, не причиняя боли. Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. Отнюдь нет — не каждый. Шелапутов выпустил спектр из взволнованной пятерни, открыл глаза и увидел то, что предвидел. Было

люто светло и холодно. Безмерное солнце, не умевшее в бесконечном небе и бескрайнем море, для большей выгоды блеска не гнулось никакой отражающей поверхностью, даже бледной кожей Шелапутова, не замедлившей ощетиниться убогими воинственными мурашками, единственными защищающими человека от всемирных бедствий.

Смеркалось на Диоскурийском побережье — не к серым насыщенным сумеркам меркнущего дня — к суровому мраку, к смерти цветов и плодов, к сиротству сирых — к зиме. Во всех прибрежных садах одновременно повернулись черные головы садоводов, обративших лица в сторону гор: там в эту ночь выпал снег.

Комната, одолженная Шелапутовым у расточительной судьбы, одинокая в задней части дома, имела независимый вход: гористую ржаво-каменную лестницу, с вершины которой он сейчас озирал изменившуюся окрестность. С развязным преувеличением постоялец мог считать своими отдельную часть сада, заляпанного приторными дребезгами хурмы, калитку, ведущую в море, ну и море, чья вчерашняя рассеянная бесплотная лазурь к утру затвердела в непреклонную мускулистую материю. Шелапутову надо было спускаться: в предгорьях лестницы, уловив возлюбленное веяние, мощную лакомую волну воздуха, посланную человеком, заюлила, затявкала, заблеяла Ингурка.

Но кто Шелапутов? Кто Ингурка?

Шелапутов — неизвестно кто. Да и Шелапутов ли он? Где он теперь и был ли он на самом деле?

Ингурка же была, а может быть, и есть лукавая подобострастная собака, в детстве объявленная немецкой овчаркой и приобретенная год назад за бутыль (из-под виски) бешеною сливовой жижки. Щенка нарекли Ингуром и посадили на цепь, дабы взлелеять свирепость, спасительную для сокровищ дома и плодоносящего сада. Ингур скромно рос, жен-

ственno вилял голодными бедрами, угодливо припадал на передние лапы и постепенно утвердился в нынешнем имени, поле и облике: нечеткая помесь пригожей козы и неказистого волка. Цепь же вопросительно лежала на земле, вцепившись в отсутствие пленника. На исходе этой осени к Ингурке впервые пришла темная сильная пора, щекотно зудящая в подхвостье, но и возвышающая душу для неведомого порыва и помысла. В связи с этим за оградой сада, не защищенной сторожевым псом и опутанной колючей проволокой, теснилась разномастная разноликая толпа кобелей: нищие горемыки, не все дотянувшие до чина дворняги за неимением двора, но все с искаженными чертами славных собачьих пород, опустившиеся призраки предков, некогда населявших Диоскурию. Один был меньше других потрапан жизнью: ярко оранжевый заливистый юнец, безукоризненный Шарик, круглый от шерсти, как шпиц, но цвета закатной меди.

Несмотря на сложные личные обстоятельства, Ингурка, по своему обыкновению, упала в незамедлительный обморок любви к человеку, иногда — деловой и фальшивый. Шелапутов, несомненно, был искренне любим, с одним изъяном в комфорте нежного чувства: он не умешался в изворотливом воображении, воспитанном цепью, голodom, окриками и оплеухами. Он склонился над распростертым изнывающим животом, усмехаясь неизбежной связи между почесыванием собачьей подмышки и подергиванием задней ноги. Эту скромную закономерность и все Ингуркины превращения с легкостью понимал Шелапутов, сам претерпевший подобные перемены, впавший в обратность тому, чего от него ждали и хотели люди и чем он даже был еще недавно. Но, поврежденным умом, ныне различавшим лишь заглавные смыслы, он не мог проследить мерцающего пунктира между образом Ингурки, прижившимся в его сознании, и профилем Гёте над водами Рейна. Он бы еще больше запутался, если бы умел

вспомнить историю, когда-то занимавшую его, — о внучатой племяннице великого немца, учившейся возить нечистоты вблизи северных лесов и болот, вдали от Веймара, но под пристальным приглядом чистопородной немецкой овчарки. То-то было смеху, когда маленькая старая дама в неуместных и трудно достижимых букилях навострилась прибавлять к обращению «Пфердхен, пфердхен» необходимое понукание, не понятное ей, но заметно ободряющее лошадь. Уже не зная этой зауми, Шелапутов двинулся в обход дома, переступая через слякоть разбившихся о землю плодов. Ингурка опасалась лишний раз выходить из закулисья угодий на парадный просцениум и осталась нюхать траву, не глядя на обожателей, повисших на колючках забора.

Опасался бы и Шелапутов, будь он в здравом уме.

Безбоязненно появившись из-за угла, Шелапутов оценил прелесть открывшейся картины. Миловидная хозяйка пансиона мадам Одетта, сияя при утреннем солнце, трагически озирала розы, смертельно раненные непредвиденным морозом. Маленькая нежная музыка задребезжала и прослезилась в спящей памяти Шелапутова, теперь пребывавшей с ним в двоюродной близости, сопутствующей ему сторонним облачком, прозрачной вольнолюбивой сферой, ускользающей от прикосновения. Это была тоска по чему-то кровно родимому, по незапамятному праотечеству души, откуда ее похитили злые кочевники. Женщина, освещенная солнцем, алое варенье в хрустale на белой скатерти, розы и морозы, обреченные друг другу божественной шуткой и вот теперь соединенные в роковом свадебном союзе... Где это, когда, с кем это было? Была же и у Шелапутова какая-то родина роднее речи, ранящей рот, и важности собственной жизни? Но почему так далеко, так давно?

Некоторое время назад приезжий Шелапутов явился к мадам Одетте с рекомендательным письмом, объясняющим, что податель сего, прежде имевший имя, ум, память, слух,

дар чудной речи, временно утратил всё это и нуждается в отдыхе и покое. О деньгах же не следует беспокоиться, поскольку в них без убытка воплотилось всё, прежде крайне необходимое, а теперь даже неизвестное Шелапутову.

Он действительно понёс эти потери, включая не перечисленное в их списке обоняние. В тот день и час своей высшей радости и непринужденности он шел сквозь просторный многолюдный зал, принятый им за необитаемую Долину Смерти, если идти не в сторону благодатного океана, а иметь в виду расшибить лоб и тело о неодолимый Большой Каньон. Прямо перед ним, на горизонте, глыбилось возвышение, где за обычным длинным столом двенадцать раз подряд сидел один и тот же человек, не имевший никаких, пусть даже невзрачных, черт лица: просто открытое пустое лицо без штрихов и подробностей. Слаженным дюжинным хором громко вещающего чрева он говорил что-то, что ясно и с отвращением слышал Шелапутов, взятый на предостерегающий прицел его двенадцати указательных пальцев. Он шел всё выше и выше, и маленький бледный дирижёр, стоявший на яркой заоблачной звезде, головой вниз, к земле и Шелапутову, ободрял его указующей палочкой, диктовал и молил, посыпал весть, что нужно снести этот протяжный миг и потом уже предаться музыке. Шелапутов вознесся на деревянное подобие парижского уличного писсуара, увидел свет небосвода и одновременно графин и недопитый стакан воды, где кишили и плодились рослые хищные организмы. Маленький дирижёр еще тянул к нему руки, когда Шелапутов, вернее, тот человек, которым был тогда Шелапутов, упал назначив и потерял всё, чем ведал в его затылке крошечный всемогущий пульт. Его несбывшаяся речь, хоть и произвела плохое впечатление, была прощена ему как понятное и добродетельное волнение. Никто, включая самого оратора, ни-

когда не узнал и не узнает, что же он так хотел и так должен был сказать.

И вот теперь, не ощущая и не умея вообразить предсмертного запаха роз, он смотрел на мадам Одетту и радовался, что она содеяна из чего-то голубовато-румянного, хрупкого и пухлого вместе (из фарфора, что ли? — он забыл, как называется), оснащена белокурыми волосами и туманными глазами, склонными расплыватьться влагой, посвященной жалости или искусству, но не отвлекающей трезвый зрачок от сурового безошибочного счета. Что ж, ведь она была вдова, хоть и опершася стыдливо на прочную руку Пыркина, но не принявшая вполне этой ищущей руки и чужой низкородной фамилии. Ее муж, скромный подвижник французской словесности, как ни скрывал этого извращенного пристрастия, вынужден был отступать под всевидящим неодобрительным прищуром — в тень, в глушь, в глубь злоключений. Когда он остановился, за его спиной было море, между грудью и спиной — гнилостное полыхание лёгких, а перед ним — магнолии в цвету и Пыркин в расцвете сил, лично приезжавший проверять документы, чтобы любоваться страхом мадам Одетты, плачущим туманом ее расплывчатых глаз и меткими твердыми зрачками. Деваться было некуда, и он пятился в море, впадающее в мироздание, холода и сгорая во славу Франции, о чём не узнал ни один соотечественник Орлеанской девы (инкогнито Шелапутова родом из других мест). Он умер в бедности, в хижине на пустыре, превращенных умом и трудом вдовы в благоденствие, дом и сад. «Это всё — его», — говорила мадам Одетта, слабым коротким жестом соединяя портрет эссеиста и его посмертные владения, влажные глазами и сосредоточив зрачки на сохранности растения фейхоа, притягательного для прохожих сластён. При этом Пыркин посыпал казнящий каблук в мениск ближайшего древесного ствола, или в безгрешный пах олеандрового

куста, или в Ингурку, забывшую обычную предусмотрительность ради неясной мечты и тревоги. Но как женщине обойтись без Пыркина? Это всегда трудно и вовсе невозможно при условии неблагополучного прошлого, живучей красоты и общей системы хозяйства, не предусматривающей процветания частного пансиона с табльдотом. Да и в безукоризненном Пыркине, честно и даже с некоторой роскошью рвения исполнявшем свой долг вплоть до отставки и пенсии, были трогательные изъяны и слабости. Например: смелый и равнодушный к неизбежному небытию всех каких-то остальных, перенасытившем землю и воздух, он боялся умереть во сне и, если неосторожно слабел и засыпал, кричал так, что даже невменяемый Шелапутов слышал и усмехался. Кроме того, он по-детски играл с непослушанием вещей. Если складной стул, притомившись или распоясавшись, разъезжался в двойной неполный «шпагат», Пыркин, меняясь в лице к худшему, орал: «Встать!» — стул вставал, а Пыркин усаживался читать утреннюю почту. По возрасту и общей недобности отстраненный от недовершенных дел, Пыркин иногда забывался и с криком: «Молчать!» — рвал онемевшую от изумления неоспоримую газету в клочки, которые, опомнившись, надменно воссоединялись. Но обычно они не прекались и не дрались, и Пыркин прощался с чтением, опять-таки непозволительно фривольно, но милостиво: «Одобряю. Исполняйте». Затем Пыркин вставал, а отпущеный стул вольно садился на расхлябанные ноги. И была у него тайна, ради которой, помрачнев и замкнувшись, он раз в декаду выезжал в близлежащий городок, где имел суверенную жилплощадь, — мадам Одетта потупляла влажную голубизну, но зрачок сухо видел и знал.

Непослушная глухонемая вещь, Шелапутов, понятия не имел о том, что между ним и Пыркиным свищет целый роман, обоюдная тяга ненависти, подобной только любви не-

изъяснимостью и полнотой страсти. Весь труд тяжелой взаимной неприязни пал на одного Пыркина, как если бы при пилке дров один пильщик ушел пить пиво, предоставив усердному напарнику мучиться с провисающей, вкривь и вкось идущей пилою. Это небрежное отлынивание от общего дела оскорбляло Пыркина и внушало ему робость, в которой он был неопытен. В присутствии Шелапутова заколдованный Пыркин не лягал Ингурку, не швырял камней в ее назревающую свадьбу, не хватался за ружье, когда стайка детей снижала крыльшки к вожделенному фейхоа.

В ямбическое морозно-розовое утро, завидев Шелапутова, Пыркин, за спиной мадам Одетты, тут же перепосвятил ему ужасные рожи, которые корчил портрету просвещенного страдальца и подлинного хозяина дома.

Но Шелапутов уже шел к главному входу-выходу: за его парадными копьями золотилась девочка Кетеван. Узкая, долгая, протянутая лишь в высоту, не имеющая другого объема, кроме продолговатости, она продлевала себя вставанием на носки, воздеванием рук, удлиняя простор, тесный для бега юной крови, бесконечным жестом, текущим в пространство. Так струилась в поднебесье, переливалась и танцевала, любопытствуя и страшась притяжения между зарожденными псами и отстраненно-нервной Ингуркой. Девочка была молчаливой безмолвного Шелапутова: он иногда говорил и сказал:

— Ну что, дитя? Кто такая, откуда взялась? Легко ли состоять из ряби и зыби, из непрочных бликлов, летящих прочь, в родную вечность неба и моря и снега на вершинах гор?

Он погладил сплетение радуг над ее египетскими волосами. Она отвечала ему вспышками глаз и робкого смеющегося рта, соловыиными пульсами запястий, висков и лодыжек и уже переместилась и сияла в отдаленье, ничуть не темней остального воздуха, его сверкающей дрожи.

Сзади донесся многократный стук плодов о траву, это Пыркин заехал инжировому дереву: он ненавидел инородцев и лучшую пору жизни потратил на выдворение смуглых племён из их родных мест в свои родные места.

Шелапутов пошел вдоль сквозняка между морем и далёкими горами, глядя на осеннее благоденствие угодий. Мир вам, добрые люди, хватит скитаний, хватит цинги, чернящей рот. Пусторукий и сирый Шелапутов, предавшийся проголоди и беспечности мыслей, рад довольству, населившему богатые двухэтажные дома. Здравствуй, Варлам, пляшущий в деревянной выдолбине по колено в крови на время убитого винограда, который скоро воскреснет вином. Здравствуй, Полина, с мокрым слитком овечьего сыра в хватких руках. Соседи еще помнят, как Варлам вернулся из долгой отлучки с чужеродной узкоглазой Полиной, исцелившей его от смерти в дальних краях, был отвергнут роднёй и один неистово гулял на своей свадьбе. Полина же заговорила на языке мужа — о том о сём, о хозяйстве, как о любви, научилась делать лучший в округе сыр и оказалась плодородной, как эта земля, без утайки отвечающая труду избытком урожая. Смиренные родные приходили по праздникам или попросить взаймы денег, недостающих для покупки автомобиля, — Полина не отказывала им, глядя поверх денег и жалких людей мстительным припёком узкоглазья. Дети учились по разным городам, и только первенец Гиго всегда был при матери. Здравствуй и ты, Гиго, втуне едящий хлеб и пьющий вино, Полине ничего не жаль для твоей красоты, перекатывающей волны мощи под загорелой цитрусовой кожей. А что ты не умеешь читать — это к лучшему, все книги причиняют печаль. Да и сколько раз белотелые северянки прерывали чтение и покидали пляж, следя за тобой в непроглядную окраину сада.

На почте, по чьей-то ошибке, из которой он никак не мог выпутаться, упирающемуся Шелапутову вручили корреспон-

денцию на имя какой-то Хамодуровой и заставили расписаться в получении. Он написал: «Шелапутов. Впрочем, если вам угодно, — Хамов и Дуров». Терзаемый тревогой и плохими предчувствиями, утяжелившими сердцебиение, вдруг показавшееся неблагополучным и ведущим к неминуемой гибели, он не совладал с мыслью о подземном переходе, вброд пересёк мелкую пыльную площадь и вошел в заведение «Апавильон».

Стоя в очереди, Шелапутов отдыхал, словно, раскинув руки, спал и плыл по сильной воде, знающей путь и цель. Числившийся членом нескольких союзов и обществ и почетным членом туманной международной лиги, он на самом деле был только членом очереди, это было его место среди людей, краткие каникулы равенства между семестрами одиночества. Чем темней и сварливей было медленное течение, закипающее на порогах, тем явственней он ощущал нечто, схожее с любовью, с желанием жертвы, конечно, никчемной и бесполезной.

Он приобрел стакан вина, уселся в углу и стал, страдая, читать. Сначала — телеграмму: «вы срочно вызываетесь объявления выговора занесением личное дело стихотворение природе итог увядания подводит октябрь». Эта заведомая бессмыслица, явно нацеленная в другую мишень, своим глупым промахом приласкала и утешила непричастного уцелевшего Шелапутова. Если бы и дальше всё шло так хорошо! Но начало вскрытого письма: «Дорогая дочь, я призываю тебя, более того, я требую...» — хоть и не могло иметь к нему никакого отношения, страшно испугало его и расстроило. Его затылок набряк болью, как переспелая хурма, готовая сорваться с ветки, и он стиснул его ладонями, спасая от забытья и падения. Так он сидел, укачивая свою голову, уговаривая ее, что это просто продолжение нелепой и неопасной путаницы, преследующей его, что он ни при чём и всё обой-

дется. Он хотел было отпить вина, но остерегся возможного воспоминания о нежном обезболивании, затмевающем и целиующем мозг в обмен на струйку души, отлёт чего-то, чем прежде единственно дорожил Шелапутов. Оставался еще пакет с — прежде — запиской, звавшей его скорее окрепнуть и вернуться в обширное покинутое братство... уж не те ли ему писали, с кем он только что стоял в очереди, дальше которой он не помнил и не искал себе родни?.. ибо есть основание надеяться на их общее выступление на стадионе. «Как — на стадионе? Что это? С кем они все меня путают?» — неповоротливо подумал Шелапутов и увидел каменное окружье, охлестнувшее арену, белое лицо толпы и опустившего голову быка, убитого больше, чем это надо для смерти, опустошаемого несколькими потоками крови. К посланию был приложен бело-черный свитер, допекавший Шелапутова навязчивыми вопросами о прошлом и будущем, на которые ему было бы легче ответить, обладай он хотя бы общедоступным талантом различать запахи. Брезгливо принюхавшись и ничего не узнав, он накинул свитер на спину и завязал рукава под горлом, причём от очереди отделился низкорослый задыхающийся человек и с криком: «Развяжи! Не могу! Душно!» — опустошил забытый Шелапутовым стакан.

Шелапутов поспешил развязать рукава и пошел прочь.

Вещь, утепляющая спину, продолжала свои намёки и недомолвки, и близорукая память Шелапутова с усилием взглядалась в далекую предысторию, где неразборчиво брезжили голоса и лица, прояснявшиеся в его плохие ночи, когда ему снился живой горючий страх за кого-то и он просыпался в слезах. Всё расплывалось в подслеповатом бинокле, которым Шелапутов пытал былое, где мерещилась ему мучительная для него певичка или акробатка, много собравшая цветов на полях своей неопределенной деятельности. Уж не ее ли был его свитер? Не от нее ли с омерзением бежал Ше-

лапутов, выпроставшись из кожи и юркнув в расщелину новой судьбы? Ужаснувшись этому подозрению, он проверил свои очертания. К счастью, всё было в порядке: бесплотный бесполый силуэт путника на фоне небосвода, легкая поступь охотника, не желающего знать, где сидит фазан.

Возвращаясь, Шелапутов встретил слоняющегося Гиго, без скуки изживающего излишек сил и времени. Сохато-рослый и стройный, он объедал колючие заросли ежевики и вдруг увидел сладость слаще ягод: бело-черный свитер, вяло обнимавший Шелапутова.

— Дай, дай! — заклянчил Гиго. — Ты говорил: «Гиго, не бей собак, я тебе дам что-нибудь». Гиго не бьет, он больше не будет. Дай, дай! Гиго наденет, покажет Кетеван.

— Бери, бери, добрый Гиго, — сказал Шелапутов. — Носи на здоровье, не бей собак, не трогай Кетеван.

— У! Кетеван! У! — затрубил Гиго, лаская милую обнову.

Шелапутов сделал маленький крюк, чтобы прокатиться двор писателя, где его знакомый старик турок плёл из прутьев летнюю трапезную, точное подражание фольклорной крестьянской кухне с открытым очагом посередине, с крюком над ним для копчения сыра и мяса. Прежде чем войти, Шелапутов, вздыбив невидимую шерсть, опушившую позвоночник, долго вглядывался в отсутствие хозяина дома. Прослышав о таинственном Шелапутове, любознательный писатель недавно приглашал его на званый ужин, и перепуганный несостоявшийся гость нисколько не солгал, передав через мадам Одетту, что болезнь его, к сожалению, усугубилась.

— Здравствуй, Асхат, — сказал Шелапутов. — Позволь войти и посидеть немного?

Старик приветливо махнул рукой, покореженной северным ревматизмом, но не утратившей ловкости и красоты движений. Ничего не помнил, всё знал Шелапутов: час на сборы, рыдания женщин и детей, уплотнившие воздух, мо-

литвы стариков, разграбленная серебряная утварь, сожранная скотина, смерть близких, долгая жизнь, совершенство опыта, но откуда в лице этот покой, этот свет? Именно люди, чьи бедствия тоже пестовали увеличивающийся недуг Шелапутова, теперь были для него отрадны, успокоительны и целебны. Асхат плёл, Шелапутов смотрел.

Подойдя к своей калитке, он застал пленительную недостижимую Ингурку вплотную приблизившейся к забору: она отчужденно скосила на него глаза и условно пошевелила хвостом, имеющим новое, не относящееся к людям выражение. Собаки в изнеможении лежали на земле, тяжко дыша длинными языками, и только рыжий голосистый малыш пламенел и звенел.

И тогда Шелапутов увидел Собаку. Это был большой старый ёсёц цвета львов и пустынь, с обрубленными ушами и хвостом, в клеймах и шрамах, не скрытых короткой шерстью, с обрывком цепи на сильной шее.

— Се лев, а не собака, — прошептал Шелапутов и, с воспламенившимся и уже тоскующим сердцем, напрямик шагнул к своему льву, к своей Собаке, протянул руку — и сразу совпали выпуклость лба и впадина ладони.

Ёсёц строго и спокойно смотрел жёлтыми глазами, нахмурив для мысли темные надбровья. Шелапутов осторожно погладил зазубрины обкрошенных ушей — тупым ножом привечали тебя на белом свете, но ничего, брат мой, ничего. Он попытался разъединить ошейник и цепь, но это была сталь, навсегда прикованная к стали, — ан ничего, посмотрим.

Шелапутов отворил калитку, с раздражением одёрнув оранжевого крикуну, ринувшегося ему под ноги: «Да погоди ты, ну-ка — пошел». Освобожденная Ингурка понеслась вдоль моря, окруженная усталыми преследователями. Сзади медленно шел большой старый пес.

Так цвел и угасал день.

Пристанище Шелапутова, расположенное на отшибе от благоустройства дома, не отапливалось, не имело электрического света и стекла в зарешеченном окне. Этой комнатой гнушались прихотливые квартиранты, но ее любил Шелапутов. Он приготовился было уподобиться озябшим розам, как вдруг, в чепчике и шали, кокетливо появилась мадам Одетта и преподнесла ему бутылки с горячей водой для согревания постели. Он отнёс эту любезность к мягкосердечию ее покойного мужа, сведущего в холодах грустных ночей: его робкая тень и прежде заметно благоволила к Шелапутову.

Красное солнце волнующе быстро уходило за мыс, и Шелапутов следил за его исчезновением с грустью, превышающей обыденные обстоятельства заката, словно репетируя последний миг существования. Совсем рядом трудилось и шумело море. Каждую ночь Шелапутов вникал в значение этого мерного многозвучного шума. Что знал, с чем обращался к его недалекости терпеливый гений стихии, монотонно вбивающий в каменя суши одну и ту же непостижимую мысль?

Шелапутов возжег свечу и стал смотреть на белый лист бумаги, в котором не обитало и не проступало ничего, кроме голенастого шестиногого паучка, резвой дактилической походкой снующего вдоль воображаемых строк. Уцелевшие в холодахочные насекомые с треском окунали в пламя слепые крылья. «Зачем всё это? — с тоской подумал Шелапутов. И чего хочет эта ненасытная белизна, почему так легко принимает жертву в муках умирающих, мясистых и сумрачных мотыльков? И кто волен приносить эту жертву? Неужто вымышенные буквы, приблизительно обозначающие страдание, существенней и драгоценней, чем бег паучка и все мелкие жизни, сгорающие в чужом необязательном огне?» Шелапутов, и всегда тяготившийся видом белой бумаги, с облег-

чением задул свечу и сразу же различил в разгулявшемся шелесте ночи одушевленно-железный крадущийся звук. Шелапутов открыл дверь и сказал в темноту: «Иди сюда». Осторожно ступая, тысячелетним опытом беглого каторжника умеряя звон цепи, по лестнице поднялась его Собака.

Шелапутов в темноте расковырял банку тушенки — из припасов, которыми он тщетно пытался утолить весь голод Ингурки, накопленный ею к тому времени. И тут же в не-прикрыту дверь вкатился Рыжий, повизгивая сначала от обиды, а потом — как бы всхлипывая и прощая. «Да молчи ты, по крайней мере», — сказал Шелапутов, отделяя ему часть мясного и хлебного месива.

Наконец улеглись: Собака возле постели, Шелапутов — в теплые, трудно сочетаемые с телом бутылки, куда вслед за ним взлетел Рыжий и начал капризно устраиваться, вспыльчиво прощелкивая зубами пушистое брюхо. «Да не толкайся ты, несносное существо, — безвольно укорил его Шелапутов. — Откуда ты взялся на мою голову?» Он сильно разволновался от возни, от своего самовольного гостеприимства, от пугающей остановки беспечного гамака, в котором он дремал и качался последнее время. Он опустил руку и сразу встретил обращенную к нему большую голову Собаки.

Странно, что всё это было на самом деле. Не Хамодурова, не Шелапутов, или как их там зовут по прихоти человека, который в ту осень предписанного ликования, в ночь своей крайней печали лежал на кровати, теснимый бутылками, Рыжим и толчеей внутри себя, достаточной для нескольких жизней и смертей, не это, конечно, а было: комната, буря сада и закипающего моря, Собака и человек, желавший всё забыть и вот теперь положивший руку на голову Собаки и плачущий от любви, чрезмерной и непосильной для него в ту пору его жизни, а может быть, и в эту.

Было или не было, но из главной части дома, сквозь проницаемую каменную стену донеслось многоточие с воскли-

цательным знаком в конце: это мадам Одетта ритуально пролепетала босыми ногами из спальни в столовую и повернула портрет лицом к обоям. Рыжий встрепенулся спросонок и залился пронзительным лаем. Похолодевший Шелапутов ловил и пробовал сомкнуть его мягко обороняющиеся челюсти. После паузы недоумения в застенной дали стукнуло и грохнуло: портрет повернулся лицом к неприглядной яви, а Пыркин мощно брыкнул изножие кровати. Уже не впопыхах, удобно запрокинув морду, Рыжий предался долгой вдохновенной трели. Шелапутов больше не боролся с ним. «Сделай что-нибудь, чтоб он, наконец заткнулся», — безнадежно сказал он Собаке, как и он, понимавшей, что он говорит вздор. Рыжий тявкнул еще несколько раз, чтобы потратить возбуждение, отвлекающее от сна, звонко зевнул, и все затихло.

За окном медленно, с неохотой светало. Из нажитого за ночь тепла Шелапутов смотрел сквозь решетку на серый зябкий свет, словно в темницу, где по обязанности приходил в себя бледный исполнительный узник. Пес встал и, сдержанно звякая цепью, спустился в сад. Рыжий спал, иногда поскучливая и часто перебирая лапами. Уже было видно, какой он яркий франт, какой неженка — по собственной одаренности, по причуде крови, заблудшой в том месте судьбы, где собак нежить некому. Успел ли он поразить Ингурку красотой оперения, усиленной восходом, — Шелапутов не знал, потому что проснулся поздно. Сад уже оттаял и сверкал, а Шелапутов всё робел появиться на хозяйствской половине. Это живое чувство опять соотносило его с забытой действительностью, с ее привычным и когда-то любимым уютом.

Вопреки его опасениям, мадам Одетта, хоть и посмотрела на него очень внимательно, была легка и мила и предложила ему кофе. Шелапутов, подчеркнуто чуравшийся застольного и всякого единения, на этот раз заискивающе согласился.

Пыркин фальшивой опрометью побежал на кухню, вычурно кривляясь и приговаривая: «Кофейник, кофейник, ау! Скорее иди сюда!» — но тут же умолк и насупился: сегодня был его день ехать в город.

Мадам Одетта, построив подбородку грациозную подпорку из локотка и кулака, благосклонно смотрела, как Шелапутов, отвыкший от миниатюрного предмета чашки, неловко пьет кофе. Ее губы округлялись, вытягивались, складывались в поцелуйное рыльце для надобности гласных и согласных звуков — их общая сумма составила фразу, дикий смысл которой вдруг ясно дошел до сведения Шелапутова:

— Помните, у Пруста это называлось: совершить каттлею?

Он не только понял и вспомнил, но и совершенно увидел ночной Париж, фиакр, впускающий свет и тьму фонарей, борьбу, бормотание, первое объятие Свана и его Одетты, его жалкую победу над ее податливостью, столь распростертой и недостижимой, возглавленной маленьkim спертым умом, куда не было доступа страдающему Свану. При этом, действительно, была повреждена приколотая к платью орхидея, чьим именем они стали называть безымянную безысходность между ними.

Шелапутов прекрасно приживался в вымышленных обстоятельствах и в этом смысле был пронырливо практичен. Малым ребенком, страдая от войны и непрерывной зимы, он повадился гулять в овальном пейзаже, врисованном в старую синюю сахарницу. По изогнутому мостику блеклого красного кирпича, лаская ладонью его нежный мох, он проходил над глухим водоёmom, вступал в заросли купалы на том берегу и навсегда причислил прелест желто-зеленых цветов в молодой зелени луга к любимым радостям детства и дальнейшей жизни. Он возвращался туда и позже, смелая от возраста и удлинения прогулки. Из черемухового оврага по крутоей тропинке поднимался на обрыв парка, увенчанный под-

гнившей беседкой, видел в просвете аллеи большой, бесформенно-стройный дом, где то и дело кто-то принимался играть на рояле, бросал и смеялся. Целомудренный зонтик прогуливался над стриженым кустарником. Какой-то господин, забывшись, сидел на скамье, соединив нарядную бороду и пальцы, оплетшие набалдашник трости, недвижно глядя в невидимый объектив светлыми, чуть хмельными глазами. Шелапутов хорошо знал этих добрых беспечных людей, расточительных, невпопад влюбленных, томимых благородными помыслами и неясными предчувствиями. Он, крадучись, уходил, чтобы не разбудить их и скрыть от них, что ничего этого нет, что обожаемый кружевной ребенок, погоняющий обруч, давно превратился в прах и тлен.

Годы спустя, незадолго до постыдного публичного обморока, затаившись в руинах чьей-то дачи, он приспособился жить в чужеземстве настенного гобелена. Это было вовсе беспечальное место: с крепостью домика, увитого вечным плющом, с мельницей над сладким ручьем, с толстыми животными, опекаемыми пастушкой, похожей на мадам Одетту, но, разумеется, не сведущей в Прусте. Там бы ему и оставаться, но он затосковал, разбранился с пастушкой, раздражавшей его шепелявыми ласкательными суффиксами, и бежал.

Вот и сейчас он легко променял цветущую Диоскурию на серую дымку Парижа, в которой и обитал палевый, голубой и лиловый фазан.

Две одновременные муки окликнули Шелапутова и вернули его в надлежащую географию. Первая была — маленькая месть задетой осы, трудящейся над красным вздутием его кисти. Вторая боль, бывшая больше его тела, коряво разраспалась и корчилась вовне, он был ею и натыкался на нее, может быть, потому, что шел вслепую напрямик, мимо дорожки к воротам и ворот, оставляя на оградительных шипах ключья одежды и кожи.

Бессмысленно тараща обрубки антенн, соотносящих живое существо с влияниями и зовами всего, что вокруг, он опять втеснился в душную темноту, достаточную лишь для малой части человека, для костяка, кое-как одетого худобою. Какие розы? Ах, да. Читатель ждет уж... Могила на холме и маленький белый монастырь с угловой темницей для наказанного монаха: камень, вплотную облегающий стоящего грешника, его глаза, уши, ноздри и губы, — благо ему, если он стоял вольготно, видел, слышал и вдыхал свет.

Потайным глубинным пеклом, загодя озиравшим длительность предшествующего небытия, всегда остающимся про запас, чтобы успеть взглянуться в последующую запредельность и погаснуть, Шелапутов узнал и впитал ту, что стояла перед ним. Это и была его единственная родимая собственность: его жизнь и смерть. Ее седины развеялись по безветрию, движимые круговортью под ними, сквозь огромные глаза виден был ад кипящей безвыходной мысли. Они ринулись друг к другу, чтобы спасти и спастись, и, конечно, об этом было слово, которое дымилось и пенилось на ее губах, которое здраво и грамотно видел и никак не мог понять Шелапутов.

Как мало оставалось мученья; лишь разгадать и исполнить ее заклинающий крик и приникнуть к, проникнуть в, вновь обрести блаженный изначальный уют, охраняемый ее урчащей когтистой любовью. Но что она говорит? Неужели предлагает мне партию на бильярде? Или всё еще хуже, чем я знаю, и речь идет о гольфе, бридже, трикtrakе? Или она нашла мне хорошую партию? Но я же не могу всего этого, что нам делать, как искуплю я твою нестерпимую муку? Ведь я — лишь внешность раны, исходящей твою бедною кровью. О, мама, неужели я умираю!

Они хватали и разбрасывали непреодолимый воздух между ними, а его всё больше становилось. Какой маркшей-

дер ошибся, чтобы они так разминулись в прозрачной толще? Вот она уходит всё дальше и дальше, протянув к нему руки, в латах и в мантии, в терновом венце и в погонах.

Шелапутов очнулся от того, что опять заметил свою руку, раненную осою: кисть болела и чесалась, ладонь обнимала темя Собаки.

Опираясь о голову Собаки, Шелапутов увидел великое множество моря с накипью серебра, сад, обманутый ослепительной видимостью зноя и опять желавший цветсти и красоваться. На берегу ослабевшая Ингурка, вяло огрызаясь, уклонялась от неизбежной судьбы. Уже без гордости и жеманства стряхивала она то одни, то другие объятья. Рыжий всех разгонял мелким начальственным лаем. И другая стайка играла неподалеку: девочка Кетеван смеялась и убегала от Гиго.

Под рукой Шелапутова поднялся загривок Собаки, и у Шелапутова обострились лопатки. Он обернулся и увидел Пыркина, собиравшегося в город. Он совсем не знал этого никакого человека и был поражен силою его взгляда, чья траектория отчетливо чернела на свету, пронзала затылок Шелапутова, взрывалась там, где обрывок цепи, и успевала контузить окрестность. Он сладострастно посыпал взгляд и не мог прервать этого занятия, но и Шелапутов сильно смотрел на Пыркина.

Следуя к автобусной станции, Пыркин схватил каменья гор вместе с домами и огородами и запустил ими в иноплеменную нечисть собак и детей, во всю дикоязычную прустовую сволочь, норовящую бежать с катоги и пожирать фейхоя.

— Вот что, брат, — сказал Шелапутов. — Иди туда, не уступай Рыжему прощальной улыбки нашего печального заката. А я поеду в город и спрошу у тех, кто понимает: что делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой.

Пес понуро пошел. Шелапутов не стал смотреть, как он стоит, опустив голову, пока Рыжий, наскакивая и отступая, поверхностно кусает воздух вокруг львиных лап, а Ингурка, в поддержку ему, морщит нос и дрожит верхней губой, открывая неприязненные мелкие острия, при одобрении всех второстепенных участников.

Не стал он смотреть и на то, как Гиго ловит смеющуюся Кетеван. Разве можно поймать свет, золотой столбик неопределенной пыли? — а вот поймал же и для шутки держит над прибоем, а прибой для шутки делает вид, что возьмет ее себе. Но она еще отбивается, еще утекает сквозь пальцы и свободно светится вдалеке — ровня лучу, неотличимая от остального солнца.

Престарелый автобус с брезентовым верхом так взбалтывал на ухабах содержимое, перемешивая разновидности, национальности, сорта и породы, что к концу пути всё в нем стало равно потно, помято и едино, — кроме Пыркина и Шелапутова.

Вот какой город, какой Афинно-белый и колоннадный, с короной сооружения на главе горы; ну, не Парфенон, я ведь ни на что и не претендую, а ресторан, где кончились купаты, но какой любимый Шелапутовым город — вот он ждет, богатый чужеземец, владелец высоких излишеств пальм, рододендронов и эвкалиптов, гипса вблизи и базальта вдали. Лазурный, жгучий, волосатый город, рожденный царственной недоступной сестры: как бы смял он ее флёрдоранж, у, Ницца, у!

Шелапутов, направляясь в контору Кука, как и всегда идучи, до отказа завел руки за спину, крепко ухватившись левой рукой за правую. Зачарованный Пыркин некоторое время шел за ним, доверчиво склонив набок голову для обдумывания этой особенности его походки, и даже говорил ему что-то поощрительное, но Шелапутов опять забыл замечать его.

Сподвижники отсутствующего Кука, до которых он доплыл, на этот раз без удовольствия, по извилинам очереди, брезгливо объяснили ему, что нужно делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой. Всё это не умешалось во времени, отведенном Шелапутову, а намордник, реставрация оборванной цепи и отдельная клетка для путешествия и вовсе никуда не умещались.

Устав и померкнув, Шелапутов пошел вдоль набережной, тяготясь неподъемной величиной неба, гор и снующей жизни. Море белесо отсутствовало, и прямо за парапетом начиналось ничто. Урожденный близнец человеческой толчеи, слоняющейся, торгующей, настигающей женщин или другую добычу, он опять был совсем один и опирался лишь на сцепленные за спину руки.

Усевшись в приморской кофейне, Шелапутов стал смотреть, как грек Алеко, изящный, поджарый, черно-седой, ведает жаровней с раскаленным песком. Никакой болтливости движений, краткий полёт крепкого локтя, склоненный блеск ёмкого глаза, предугадывающий всякую новую нужду в черном вареве, усмехающийся кофейным гадателям: ему-то не о чём спрашивать перевернутую чашку, он прозорливей всеведущей гущи.

Ничего не помнил, всё знал Шелапутов: тот же мгновенный — пошевеливайся, чучмек! — час на сборы, могилы — там, Алеко — здесь.

Почуяв Шелапутова, Алеко любовно полыхнул ему глазом: обожди, я иду, не печалься и здравствуй во веки веков. Есть взор между человеком и человеком, для которого и следует жить в этом несказанном мире, с блистающим морем и хрупкой гигантской магнолией, держащей на весу фарфоровую чашу со светом. Совладав с очередной партией меди в песке, Алеко подошел, легкой ладонью приветил плечо Шелапутова. Про Собаку сказал:

— Иди по этому адресу, договорись с проводником. Он приедет завтра вечером, послезавтра уедет и вместе с ним ты со своею Собакой.

Потом погасил глаза и спросил:

— Видел Кетеван?

— Езжай туда, Алеко, — взяточно глядя на него, ответил Шелапутов. — Не медли, езжай сегодня.

Алеко посмотрел на простор дня, на Грецию вдали, коротко сыграл пальцами по столу конец какой-то музыки и сказал с вольной усмешкой:

— Я старый бедный грек из кофейни. А она — ты сам знаешь. Пойду-ка я на свое место. Прощай, брат.

Но как ты красив, Алеко, всё в тебе. Ты всё видел на белом свете, кроме высшей его белизны — возлюбленной родины твоей древней и доблестной крови. С тобою Самофракийская Ника! Смежим веки и станем думать, что море и море похожи, как капля и капля воды. И что так стройно белеет на вершине горы? Не храм же в честь начала и конца купат, а мысль без просчета, красота без изъяна: Парфенон.

Шелапутов обнял разрушенную колонну, вслушиваясь лбом в шершавый мрамор. Внизу подтянуто раскинулся Акрополь, ниже и дальше с достоинством сутился порт Пирей, совсем далеко, за маревом морей, в кофейню вошли двенадцать человек, неотличимых один от другого. Кто такие? Должно быть, негоцианты, преуспевшие в торговле мускусом, имбирем и рабами, допировывающие очередную сделку. Но где их уже видел Шелапутов? Влюбленная прислуза сдвигала столы, тащила бутылки и снедь. Виктория — их, несомненно, но разве мало у них драхм, чтобы подкупить руку, смазавшую черты их лиц, воздвигшую большой жир животов, опасный для их счастливой жизни? Бр-р, однако, как они выглядят.

— Пошевеливайся, грек! — Но он уже идет с чашкой и медным сосудом, безупречно статный, как измысленье Лисиппа, весело глядя на них всезнающими глазами.

— На, грек, выпей!

С любезным поклоном берет он стакан, пристально разглядывает влагу, где что-то кишит и плодится, смеется дерзкими свежими зубами и говорит беспечно:

— Грязно ваше вино.

Больше он ничего не говорит, но они, беснуясь, слышат:

— Грязно ваше вино, блатные ублюдки. Прохлятье тому, кто отпил его добровольно, горе тому, чью шею пригнули к нему. Этот — грек, тот — еще кто-нибудь, а вы — никто ниоткуда, много у вас владений, но родины — нет, потому что всё ваше — чужое, отнятое у других.

Так он молчит, ставит стакан на стол и уходит на свое место: путем великих Панафиней, через Пропилеи, мимо Эрехтейона — к Парфенону.

Прощай.

Какое-то указание или приглашение было Шелапутову, о котором он забыл, но которому следовал. Бодрым и деловым шагом, задушевно и мимолётно поглаживая живую шерсть встречных пальм, шел он вдоль темнеющих улиц к подмигивающему маяку неведомой цели. Вот юный дом с обветшалой штукатуркой, надобный этаж, дверь, бескорыстный звонок с проводами, не впадающими в электричество. Он постучал, подождал и вошел.

Мрак комнаты был битком набит запахом, затрудняющим дыхание и продвижение вперед, — иначе как бы пронюхал Шелапутов густоту благовонного смрада?

Повсюду, в горшках и ящиках, подрагивали и извивались балетно-неземные развратно-прекрасные цветы.

Лицом к их раструбам, спиной к Шелапутову стоял и сотрясался Пыркин, в упоении хлопотавший о близкой удаче.

Вот пала рука, и раздался вопль победы и муки.

Отдохнув, охладев к докучливой искушающей флоре, Пыркин отвернулся от загадочно глядящих неуголимых растений, увидел Шелапутова и прикрикнул на него с достоинством:

— Я на пенсии! Я развозжу орхидеи!

— Ну-ну, — молча пожал плечами Шелапутов, — это мило.

Они двинулись к автобусу и потом к дому: впереди Шелапутов, сомкнувший за спиной руки, сзади — Пыркин, приглядывающий за его затылком.

Поднявшись к себе, Шелапутов не закрыл дверь и стал ждать.

Вот — осторожно зазвенело в саду и вверх по лестнице. Шелапутов обнял голову Собаки, припал к ней лицом и отстранился:

— Ешь.

В эту ночь Рыжий появился ненадолго: перекусил, наспех лизнул Шелапутова, пискливо рявкнул на Собаку, в беспамятстве полежал на боку и умчался.

Важная нежная звезда настойчиво обращалась к Шелапутову — но с чем? Всю жизнь разгадывает человек значение этой пристальной связи, и лишь в мгновение, следующее за последним мгновением, осеняет его ослепительный ответ, то совершенное знание, которым никому не дано поделиться с другим.

Шелапутов проснулся потому, что пёс встал, по-военному наступив шерсть и мышцы, клокоча глубиною горла.

— Ты не ходи, — сказал Шелапутов и толкнул дверь.

Что-то ссыпалось с лестницы, затрещало в кустах и затаилось. Шелапутов без страха и интереса смотрел в темноту. Пёс всё же вышел и стал рядом. Выстрел, выстрел и выстрел наобум полыхнули по звезде небес. Эхо, эхо и эхо, оттолкнувшись от гор, лоб в лоб столкнулись с криком промахнувшегося неудачника:

— Все французы — жиды! Свершают каттлею! Прячут беглых! Воруют фейхоя!

— Не спится? — сказал Шелапутов. — Ах, да, вы боитесь умереть во сне. Опасайтесь: я знаю хорошую колыбельную.

Утром окоченевший Шелапутов ленился встать, да и не было у него дел покуда. В открытую дверь он увидел скромную кружевную франтоватость — исконную отраду земли, с которой он попытался разминуться: на железных перилах, увитых виноградом, на убитых тельцах уязвленной морозом хурмы лежала северная белизна. Обжигая ею пальчики, по ступеням поднималась мадам Одетта в премилой душегрейке. На пороге ей пришлось остановиться в смущении:

— Ах! Прошу прощения: вы всё еще не одеты и даже не вставали.

Галантный благовоспитанный Шелапутов как раз был одет во все свои одежды и встал без промедления.

Мадам Одетта задумчиво озирала его голубую влагой, красиво расположенной вокруг бдительных черных зрачков, знавших мысль, которую ей трудно было выразить, — такую:

— Причина, побуждающая меня объясняться с вами, лежит в моем прошлом. (Голубизна увеличилась и пролилась на щеку.) Видите ли, в Пыркине, лишенном лоска и лишнего образования, есть своя тонкость. Его странные поездки в город (влага подсохла, а зрачки цепко вчитались в Шелапутова) — это, в сущности, путешествие в мою сторону, преодоление враждебных символов, мешающих его власти надо мной. Он тяжко ревнует меня к покойному мужу — и справедливо. (Голубые ручьи.) Но я хочу говорить о другом. (Шепот и торжество черного над голубым.) Будьте осторожны. Он никогда не спит, чтобы не умереть, и всё видит. Пыркин — опасный для вас человек.

— Но кто это — Пыркин? — совершенно растерявшись, спросил Шелапутов и вдруг, страшно волнуясь, стал сбивчи-

во и словно нетрезво говорить: — Пыркин — это не здесь, это совсем другой. Клянусь вам, вы просто не знаете! Там, возле станции, холм, окаймленный соснами, и чудная церковь с витиеватыми куполами, один совсем золотой, и поле внизу, и дома на его другом берегу. Так вот, если идти к вершине кладбища не снизу, а сбоку, со стороны дороги, непременно увидишь забытую могилу, над которой ничего нет, только палка торчит из-под земли, и на ней написано: «ПЫРКИН!» Представляете? Какой неистребимый характер, какая живучесть! Ходить за водкой на станцию, надвигать кепку на шальные глаза, на этом же кладбище, в праздник, сидеть среди цветной яичной скорлупы, ощущать в полегчавшем теле радостную облегченность к драке, горланить песнь, пока не захрипит в горле слеза неодолимой печали, когда-нибудь нелепо погибнуть и послать наружу этот веселый вертикальный крик: «ПЫРКИН!»

— Врешь! — закричал невидимый однофамилец нездешнего Пыркина. — Это тот — другой кто-нибудь, вор, пьяница, бездельник с тремя судимостями! Всё спал, небось, налив глаза, — вот и умер, дурак!

Никто уже не стоял в проёме двери, не заслонял размороженный, нестерпимо сверкающий сад, а Шелапутов всё смотрел на заветный холм, столь им любимый и для него неизбежный.

Дождавшись часа, когда солнце, сделав всё возможное для отогревания этих садов, стало примеряться к беспристрастной заботе о других садах и народах, Шелапутов через калитку вышел на берег и увяз в мокрой гальке. Уже затрешиками и зуботычинами учило море непонятливую землю, но, как ей и подобает, никто по-прежнему ничего не понимал.

Из ничьего самшита, вырвавшегося на волю из чьей-то изгороди, лениво вышел Гиго в полосатом свитере, снова не имеющий занятия и намерения. Далеко сзади, закрыв лицо

всей длиной руки, преломленной в прелестной кисти, обмакнутой в грядущую мыльную беспечность, шла и не золотилась девочка Кетеван.

Солнце, перед тем как невозвратимо уйти в тучу, ударило в бубен оранжевой шерсти, и Рыжий скрестил передние лапы на волчье-козьей темно-светлой шее. Сооружение из него и Ингурки упрочилось и застыло. Массовка доигрывала роль, сидя кругом и глядя. Вдали оцепеневшего хоровода стоял и смотрел большой старый пёс.

— Плюнь, — сказал ему Шелапутов. — Пойдем.

Впереди был торчок скалы на отлогом берегу: еще кто-нибудь оглянулся, когда нельзя. Шелапутов провел ладонью по худому хребту — львиная шерсть поёжилась от ласки, и волна морщин прокатилась по шрамам и клеймам.

Сказал: — Жди меня здесь, а завтра — уедем, — и, не оглянувшись, пошел искать проводника.

Адрес был недальний, но Шелапутов далеко зашел в глубь расторопно сгустившейся ночи, упираясь то в тупик чащобы, то в обрыв дороги над хладным форельным ручьем. Небо ничем не выдавало своего предполагаемого присутствия, и Шелапутов, обособленный от мироздания, мыкался внутри каменной безвоздушной темноты, словно в погасшем безвыходном лифте.

Засквозило избавлением, и сразу обнаружилось небо со звездами и безукоризненной луной, чье созревание за долгими тучами упустил из виду Шелапутов и теперь был поражен ее видом и значением. Прямо перед ним, на освещенном пригорке, стоял блюститель порядка во всеоружье и плакал навзрыд. Переждав первую жалость и уважение к его горю, Шелапутов, стыдясь, всё же обратился к нему за указанием — тот, не унимая лунных слез, движением руки объяснил: где.

Женщины, в черном с головы до ног, встретили Шелапутова на крыльце и ввели в дом. Он еще успел полюбоваться скорбным благородством их одеяний, независимых от пестроты нынешнего времени, и лишь потом заметил, как с легким шелковым треском порвалось его сердце, и это было не больно, а мятно-сладко. Стариk, главный в доме, и другие мужчины стояли вокруг стола и окропляли вином хлеб. И Шелапутову дали вина и хлеба. Стариk сказал:

— Выпей и ты за Алеко, — он пролил немного вина на хлеб, остальное выпил.

Как прохладно в груди, какое острое вино, как прекрасно добавлен к его вкусу вольно-озонный смолистый привкус. Уж не рецина ли это? Нет, это местное черное вино, а рецина золотится на свету и осколинным золотом вяжет и услаждает рот. Но всё равно — здравствуй, Алеко. Мы всегда умираем прежде, чем они, их нож поспевает за нашей спиной, но их смерть будет страшнее, потому что велик их страх перед нею. Какие бедные, в сущности, люди. И не потому ли они так прожорливо дорожат своей нищей жизнью, что у нее безусловно не будет продолжения, и никто не заплачет по ним от горя, а не от корысти?

Шелапутов выпил еще, хоть тревожно знал, что ему пора идти: ему мерещилось, что трижды пошатнулась и погасла звезда.

— Так приходи завтра, если сможешь, — сказал стариk на прощанье. — Я буду ждать тебя с твою Собакой.

Не потратив нисколько времени, одним прыжком спешащего ума, Шелапутов достиг вздыбленного камня. Собаки не было там. Шелапутов не знал, где его Собака, где его лев, где он лежит на боку, предельно потянувшись, далеко разведя голову и окоченевшие лапы. Три пулевых раны и еще одна, уже лишняя и безразличная телу, чернеют при ясной луне. По горлу и по бархатному свободному излишку шеи, надоб-

ному большой собаке лишь для того, чтобы с обожанием потрепала его рука человека, прошелся нож, уже не имевший понятной цели причинить смерть.

— Значит — четыре, — аккуратно сосчитал Шелапутов. — Вот сколько маленьких усилий задолжал я гиенам, которые давно недоумевают: уж не враг ли я их, если принадлежащая им падаль до сих пор разводит орхидеи?

Зарницей по ту сторону глаз, мгновенным послетоннельным светом, за которым прежде он охотился жизнь напролет, он вспомнил всё, что забыл в укрытии недуга. Оставалось лишь менять картины в волшебном фонаре. Селенье называлось Свистуха, река Яхрома, неподалеку мертвая вода канала возлежала в бетонной усыпальнице. За стеной с гобеленом хворала необщительная хозяйка развалившейся дачи. Однажды она призвала его стуком, и он впервые вошел в ее комнату, весело глядящую в багрец и золото, октябрь, подводивший итог увяданья, солнечный и паутинный в этом году. Старая красивая дама пылко смотрела на него, крепко прихватив пальцами кружева на ключницах. Он сразу увидел в ней величественную тень чего-то большего, чем она, оставившую ее облику лишь узкую ущербную скобку желтенького света. Он был не готов к этому, это было так же просто и дико, как склонить к букварю прилежный бант и прочесть слово: смерть.

— Голубчик, — сказала она, — я видела тех, кто строил этот канал. Туда нельзя было ходить, но мы заблудились после пикника и нечаянно приблизились к недозволенному месту. Нас резко завернули, но мы были веселы от вина и от жизни и продолжали шутить и смеяться. И тогда я встретила взгляд человека, которого уже не было на свете, он уже вымостили собою дно канала, но вот стоял и брезгливо и высокомерно смотрел на меня. Сколько лет прошло, клешни внутри меня намертво сомкнулись и дожирают мою жизнь.

А он всё стоит и смотрит. Бедное дитя, вы тогда еще не родились, но я должна была сказать это кому-то. Ведь надо же ему на кого-то смотреть.

Всё это несправедливо показалось прежнему Шелапутову: ведь он уже бежал в спасительные чудотворные рощи и теперь ему надо было подаваться куда-то из безмятежных надмогильных лесов и отсиживаться в гобелене.

Время спустя Шелапутов или та, чей свитер был — его, плыл или плыла по каналу на развлекательном кораблике с музыкой и лампионами. Двенадцать спутников эффектной экскурсантки в обтяжном бархате и перезвоне серебряных цепочек — отвечали неграмотными любезностями на ее предерзкие словечки. Слагая допустимые колкости, она пригубляла вино, настоянное на жирных амёбах. И вдруг увидела, как из заоконной русалочьей сырости бледные лицаглядят на нее брезгливо и высокомерно. Но почему не на тех, кого они видели в свой последний час, а на нее, разминувшуюся с ними во времени? Остальная компания с удовлетворением смотрела на уютную дрессированную воду, на холодную лунную ночь, удачно совпавшую с теплом и светом внутри быстрокрылого гулящего судна.

Затем был этот недо-полёт через долину зала, врожденный недо-поступок, дамский подвиг упасть без чувств и наружное мужество без них обходиться. Не пелось певунье, не кувыркалось акробатке, и этот трюк воспалил интерес публики, всегда грезящей об умственной собственности. Каждой делательнице тарталеток любо наречь божеством того, кто прирученно ест их с ее ладони, втянув зубы, вытянув губы. Но Шелапутова ей не обвести вокруг пальца!

Он положил руку на пустоту, нечаянно ища большую голову Собаки с ложбиной меж вдумчивых надбровных всхолмий.

Ничто не может быть так холодно, как это.

Спущеный с тетивы в близкую цель, Шелапутов несся вдоль сокрушительного моря и споткнулся бы о помеху, если бы не свитер цвета верстового столба.

Гиго рыдал, катая голову по мокрым камням.

— Мать побила меня! Мать била Гиго и звала его сыном беды, идиотом. Мать кричала: если у Кетеван нет отца, пусть мой отец убьет меня. Отец заступался и плакал. Он сказал: теперь Алеко женится на ней. А она убежала из дома. Мать велела мне жить там, где живут бездомные собаки, и она вместе со всеми будет бросать в меня камни и не бросит хлеба.

Отвечая праздничной лёгкости Шелапутова, сиял перед ним его курортник, его крошечный Сен-Тропез, возжегший все огни, факелами обыскивающий темноту.

Навстречу ему бежала развевающаяся мадам Одетта. Добежала, потащила к губам его руки, цепляясь за него и крича:

— Спасите! Он заснул! Он умирает во сне!

Отряхнувшись от нее, Шелапутов вошел в дом и неспеша поднялся в спальню. На кровати, под перевернутым портретом, глядящим сквозь стену в шелапутовскую каморку, хранил и кричал во сне Пыркин. Лицо его быстро увеличивалось и темнело от прибыли некрасивой крови, руки хватались за что-то, что не выдерживало тяжести и вместе с ним летело с обрыва в пучину.

Ружье отдыхало рядом, вновь готовое к услугам.

— Помогите! — рыдала мадам Одетта. — Ради того, которого над нами нет, — разбудите его! Вы же можете это, я не верю, что вы так ужасно жестоки. — Она пала на колени, не приятно белея ими из-под распавшегося халата, и рассыпалась по полу саксонской фасолью, нестройными черепками грузного фарфора.

Маленький во фраке, головою вниз повисший со звезды, поднял хрустальную указку, и Шелапутов запел свою колы-

бельную. Это была невинная песенка, в чью сноторную силу твердо верил Шелапутов. От дремотного речитатива Пыркину заметно полегчало: рыщущие руки нашли искомый покой, истомленная грудь глубоко глотнула последнего воздуха и остановилась — на этом ее житейские обязанности кончались, и выдох был уж не ее заботой, а кого-то другого и высшего.

Прилично соответствуя грустным обстоятельствам, Шелапутов поднял к небу глаза и увидел, что маленький завсегдатай звезды, отшвырнув повелительную палочку, обнял луч и приник к нему плачущим телом.

Шелапутов накинулся на затихшего Пыркина: тряс его плечи, дул ему в рот, обегал ладонью левое предплечье, где что-то с готовностью проснулось и бодро защелкало. Он рабски вторил подсказке неведомого суфлера и приговаривал:

— Не баю-бай, а бей и убей! Я всё перепутал, а вы поверили! Никакого отбоя! Труба зовет нас в бой! Смерть тому, кто заснул на посту!

Новорожденный Пыркин открыл безоружные глаза, не успевшие возыметь цвет и взгляд, и, быстро взрослея, строго спросил:

— Что происходит?

— Ничего нового, — доложил Шелапутов. — Деление на убийц и убиенных предрешено и непоправимо.

Опытным движением из нескольких слагаемых: низко уронить лоб, успеть подхватить его на лету, вновь подпереть макушкой сто шестьдесят пятый от грязного пола сантиметр пространства с колосниками наверху и укоризненной звездой в зените и спиной наобум без промаха пройти сквозь занавес — он поклонился, миновал стену и оказался в своей чужой и родной, как могила, комнате. А там уже прогуливаясь бархат в обтяжку, вправленный в цирковые сапожки со

шпорами, переливалось серебро цепочек, глаза наследственно вели в ад, но другого и обратного содержания.

— Привет, кавалерист-девица Хамодурова! — сказал Шелапутов (Шеламотов? Шуралеенко?). — Не засиделись ли мы в Диоскурийском блаженстве? Не время ли вернуться под купол стадиона и пугать простодушную публику песенкой о том, что песенка спета? Никто не знает, что это — правда, что канат над темнотой перетерся, как и связки голоса, покрытые хриплыми узелками. И лишь за это — браво и все предварительные глупые цветы. Ваш выход. Пора идти.

Так она и сделала.

Оставшийся живучий некто порыскал в небе, где притворно сияла несуществующая звезда, и пошел по лунной дорожке, которая — всего лишь отражение отраженного света, видимость пути в невидимость за горизонтом, но ведь и сам опрометчивый спутник — вздор, невесомость, призрачный неудачник, переживший свою Собаку и всё, без чего можно обойтись, но — зачем?

1978

ЛЕРМОНТОВ

Из архива семейства Р.

В Москве, на Красноармейской улице, живет и благоденствует семейство Р. Старшие Р. имеют взрослых детей и многих внуков, но их добросердечие и энергия не исчерпаны течением лет, трудами и заботами. В их скромном, радушном и несколько безалаберном доме всегда гостят друзья, а также друзья, родные и знакомые друзей, некоторые с детьми, птицами и животными. Молодожёны, ожидающие новоселья, грустные гордецы, терпящие размолвку с дамашними, беспечные приезжие разбивают здесь свои непрочные шатры и черпают живое благо из огромной суповой кастриюли. Некогда сюда забрёл чужестранец, перепутавший адрес. В это время учились ходить близнецы, оснащённые специальным, быстро несущимся устройством, шаталась стремянка, вбивался гвоздь, на кухне за чисткой рыбы распевала актриса, без убытка расточая древнее серебро знаменитых бледных северных глаз. Стада маленьких добрых существ ластились к коленям пришельца — он замешкался, в совершенстве овладел русским языком, а когда прощался перед отъездом на родину, из груди его вырвалось короткое неблаговоспитанное рыдание, не принятое среди его соотечественников. Ко множеству детских фотографий в доме Р. прибавились изображения двух прилежных

кружевных джентльменов, напряженно скрывающих от объектива выражение неслыханного озорства, подступившего к сердцу.

Не гнушайся этими лишними сведениями, любезный читатель. Как знать, может быть, и тебе придётся жить под этим кровом, если ты не читаешь эти строки, промотившиесь где-нибудь вблизи упомянутой каструли.

Озирая разнобой здешнего многолюдья, невольно испытываешь тревогу за другие города и пространства: не пришлось ли им вовсе опустеть, чтобы послать сюда столько славных скитальцев?

Легко вообразить, сколько памятных вещиц и неприметных документов осталось в собрании доброго и рассеянного семейства Р. В упаковочной картонке болгарского производства хранятся бумаги, писанные одной рукой, пре-небрегшей заведомым выбором стиля и жанра, и несколько сторонних писем. Судя по этим записям, их безымянный автор сильно печалился по человеку, родившемуся более ста пятидесяти лет назад и жившему недолго. Столько лет прошло, а он всё печалился, любовь и досада притекали его вспыльчивый, недисциплинированный ум, и, несмотря на непоправимость прошедшего времени, он словно помышлял о спасении и мести. Случилось так, что я вольна распорядиться этими бумагами по моему усмотрению, и вот распоряжаюсь, придав им некоторый порядок для удобства благосклонного читателя. Что же касается авторства, то в нём можно подозревать любого из многочисленных постояльцев гостеприимного дома Р. Долгое время жила там и я (вместе с моей собакой).

За милость приюта, а также за целостность и сохранность картонного ящика приношу семейству Р. мою почтительную благодарность.

I

СКУКА ЛЕТНИХ ДНЕЙ В БАРСКОЙ УСАДЬБЕ

Как любил он прежде встречать в серебряном стекле своё пригожее нарядное лицо: кровь с молоком в благородной пропорции, приятная плавность линий и оранжерейные усы драгоценного отлива. Глаза красиво помещены чуть на выкате в стороне от ума, не питающего их явным притоком, — светлые, бесхитростные глаза, надобные для зрения и общей миловидности, а не для того, чтобы угнетать наблюдателя чрезмерным значением взора. (О глазах другого и противоположного устройства, и поныне опаляющих воображение человечества, когда-то сделал он следующую запись: «Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнить его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей».)

Один лишь маленький изъян мог он предполагать в своих чертах — это грубоватость их предыстории и винные откупы обожаемого батюшки — и тот легко восполнялся напуском барственного выражения и склонностью к шёлковым и бархатным материям глубоких патрицианских тонов.

Некоторые, особенно счастливые, свои отражения помнил он до сих пор. Однажды, по выпуске из юнкерской школы, угорев от офицерской пирушки, ища прохлады, воли и другого какого-то счастья, толкнул он наугад дверь и увидел прямо перед собой своё прельстительно молодое лицо, локон, приотставший к виску, сильную, жадную до воздуха шею — всё это в отчётливом многозначительном ореоле.

Стоял и смотрел, покуда судьба, рыщущая в белых сумерках, не приметила молодца для будущей важной надобности. И ёщё в Киеве, зимой, в самую острую пору его жизни, поднимался по лестнице меж огнедышащих канделябров и на окружлом повороте резко, наотмашь отразился в упоительном стекле: впервые немолодой, близкий к тридцатому году, бережно несущий на отлогом челе мету неутолимой скорби, но, как никогда, статный, вольготный и готовый к любви. Именно таким сейчас, сейчас увидит его бал, разом повернувший к нему все головы, и выпорхнет картавый польский голосок, обмирающий от смеха и от страха: шутка ли примирить к себе прицел этих ужасных прекрасных поцелуйных усов! Но ёщё половина лестницы оставалась ему, и выше крайней её ступени ничего не будет в его жизни — то была вершина его дней, его Эльбрус, а далее долгий медленный спад, склон, спуск к скуке этого лета.

Его туалетный стол по-прежнему был обставлен с капризным дамским комфортом, но зеркало, окаймлённое тяжёлым серебром, изображающим охотничьи игры Дианы, уже не приносило радости. И не в старении было дело! Батюшка в этом возрасте был хотя и почтенный, но бодрый, резвый человек, в свободную минуту пускавшийся шалить с маленьими дочерьми и сыновьями. Да, видно вся кровь их износилась и ослабела: брат Михаил не прожил полувека, а сам он в пятьдесят шесть лет замечал в слюне нехороший привкус, словно в душе что-то прокисло.

Отвлекшись от зеркала, стал он глядеть в окно, но и там ничего хорошего не увидел: висело пустое небо, сиреневые кутины пялили остовы обгоревших на солнце кистей. В стороне от зрения оставались близкое село с церковью, скучные поля, бедный лес. Впрочем, между ним и природой и прежде ничего особенного не происходило только вершины гор и избыток звёздного неба внушали неприятную робость,

схожую с предчувствием недуга и посягающею на непрочную плоть.

Почты он не ждал и не хотел: через её посредство уже допекали его досужие господа, неграмотные в правилах чести, сующие нос в чужие дела, — он содрогался от близости этого развязного чернильного носа, с сомнением принюхивающегося к святыне его порядочности. И козни эти уже достигали других нестойких умов! Недавно в Москве представляли ему молодого человека, нуждающегося в ободрении, — он было хотел его приветить, да вдруг через протянутую руку почувствовал, как того передёрнуло от плеча к плечу, так что руки их разорвались, при этом несбывшийся протеже побледнел, словно от смерти.

Третьего дня соскочил с его дороги потёртый, плюгавый господинчик, устремивший на него нелепую трагическую гримасу, в смысл которой и вчитываться не стоило. На белом свете толкуются тьмы таких бесцельных людышек, даже не помеченных для порядку разнообразием внешности. Точно такого же невежу встретил он давно, выйдя из несильной короткой тюрьмы на дозволенную целебную прогулку: тот так же таращился, разыгрывая лицом целую Драму, и долго не пил воды, брезгливо дожидаясь полной перемены минеральной струи. Третий близнец вмешался в толпу зевак при его венчании, выставлял физиономию, натужно мигал, нагнетая в зрачки фальшивый адский пламень. Эти курьёзные действия не предвещали браку добра, что вскоре и подтвердилось.

Он давно уже собирался выразить отпор всем нескромным задирам, а отчасти и собственной маленькой неуверенности, иногда крепчавшей до явного неудобства, и только ждал нужного дня.

Утром особенного дня, на который возлагал он большие надежды, он пробудился живей, чем обычно, сразу пригля-

нился серебряной Диане, приласкал усы и за кофием с такой отдалённостью соотносился с домашними, словно дивился и сострадал их незначительности и птичьему вздору речей. Сегодня он ждал от природы участия в подъёмах, но она смотрела в окно по-прежнему бесцветно и глупо, как белёсая деревенская девка.

Словно побуждаемый свыше, строго прошёл он в кабинет, присел к хрупко-громоздкому, французской работы столу для умственных занятий и, обмерев от силы момента, плеснувшего за ворот холодком, красиво и крупно вывел в верху листа дорогой бумаги: «МОЯ ИСПОВЕДЬ». Далее — сбоку и мелко — «15 июля 1871 года, село Знаменское» И единственным духом, без остановки: «Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли».

Так вот это кто. Вот зачем ему именно этот день. Как многие обыкновенные люди, он полагался на необыкновенность обстоятельств, чтобы спутать их с собственной заслугой. Роковая округлость даты должна была взбодрить нервы, продиктовать уму скрытый от него смысл. Он фатум приглашал в соавторы своей руке, чьим вкладом в дело был красивый, холёный почерк. И резво бежала рука.

«Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памятны малейшие подробности этого дня, как будто произошло только вчера».

Почти жизнь. Как сказать. Сам он проживёт вдвое больше. Второму участнику происшествия и до этого неполного срока недоставало четырёх лет. Но — бледнейте, грядущие литературоведы: ему памятны подробности. Затаим биение сердца и станем заглядывать за плечо, одетое стёганым домашним шёлком.

«Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней сочтён...»

О, вот оно, сбылось! Не зря он ждал! Сторонняя сила причинила ему состояние, в котором он не имел опыта и котому названия не знал, а это было вдохновение, взлёт в чужую пугающую высь, откуда он ясно увидел, что ржавый вкус, и тревога, и вялое ожидание облегчающей перемены — всё это было близость его собственной смерти, очень существенной и трогательной до слёз. Он не отшатнулся от этого откровения, а даже усугублял его, немного любясь собой и тайком заговаривая судьбу: может, и не сбудется, да и не теперь же, немедленно, ему умереть, а выгода незаурядности, возвышающей его над беспечно живыми людьми, уже есть, и не им корить человека, сознавшего предсмертье. Да ведь если он умирает, его столкновение с умершим кончено миром, они уже сравнялись и никто не виновен. Он впервые примерил смерть к себе, ещё совершенно живому, и это было настолько больше и важнее всего, о чём он собирался писать, что чувство стало убывать, и остатком его он продолжил:

«Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел».

Он добросовестно отложил перо, затуманил глаза и тут же увидел требуемую личность, которая, как всегда, неприятно поразила его. Нервы его сразу обострились против фантаёров, теперь влюбившихся в эту личность за красоту собственных фантазий. Виновен ли он, что эта личность, обратная и противопоказанная ему всеми недостатками и добрыми качествами, всю жизнь настигала его, задирала, набрасывалась с дружелюбием, звала к Яру, зарифмовывала чёрт-те с чем, искала в нём пустого места для жгучих неблаговоспитанных выходок. Даже при вдруг кротком Лермонтове он ощущал неуютное беспокойство, как в горах, когда пейзаж

притворяется идиллией, а затылок подозревает на себе прищуренный черкесский глаз. Он не умел отличать самолюбия от чувства чести, отчегоплощадь его уязвимости была искушающее огромной и требовала неусыпной придирчивой охраны. Ещё в юнкерской школе он раз и навсегда предупредил, что с ним шутить нельзя.

Если бы Лермонтов искал себе убийцы или, напротив, опасался бы его, он бы вспомнил, как озорничала предводительствуемая им «Нумидийская конница». Как оседлавшие друг друга сорвиголовы, облачённые в простыни и вооружённые холодной водой, врывались ночью в расположение новичков и повергали их в смятение и сырость. Как один хорошеный юнкер, обычно имевший в лице простодушное выражение девичьего недомыслия, наступился и напрягся для боя, и лицо его, побелевшее целиком, вместе с глазами, не умещалось в игре и не сулило пощады. Главный нумидиец засмеялся и завернул эскадрон. Фамилия победителя была — Мартынов. А это вам не Есаков, которого Лермонтов про дразнил всю осень сорокового года (в Чечне) и всю последующую зиму (в Ставрополе), однако не был за это убит. Есаков: «... он школьничал со мною до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймёт мой пыл».

Всё их приятельство, общие гостиные, обеды, карты, поездки верхом вспоминались ему как изнуряющее неудобство, от которого он и теперь не мог отдохнуть. Он тратил на один предмет одну мысль — так же просто и чётко, как обходился одним глазом для прицела, и эта экономность ума предрешила исход их долгих отношений. Лермонтов же явно не умешался в одно мнение, рассудок не поспевал за ним и терпел эту неудачу как новое маленькое оскорблени е. Всей этой зауми Мартынов, разумеется, не знал, но у него

были и другие, известные ему, причины быть недовольным. Начать с того, что он считал красоту или хотя бы благообразность непременным условием порядочности. А Лермонтов назло ему был дик лицом, не вытянут в длину, небрежен в платье, не шёл к седлу, даром что совершенно им владел, ел слепо и жадно, даже и не по-мужицки, а по-разбойничьи, — не говоря уже о его зверских прыжках и шалостях! Мало этого — он таинственным образом заманивал неотрывно смотреть на себя, и мучение возрастало.

Главное же было в том, что при нём Мартынов начинал сомневаться в своей безукоризненной приглядности, в правильности туалета, в храбости скакать по горам, в находчивости вести беседу и — в крахмальной опрятности совести.

От Лермонтова сквозило или пекло, что составляло целую лихорадку, и он скучал, если не на ком было её выместить. Когда брошенный Лермонтовым полтинник упал решёткой вверх, в пользу каприза, Пятигорска и гибели, в чём, скажите, виноват был Мартынов? Он мирно спал, когда явился за ним чернявый Найтаки, державший гостиницу: дескать, прибыли и желают видеть без промедления. Он доверчиво пошёл, следя выносливой привязанности: Монго лежал с львиной грацией и ленью, Лермонтов так и прыгнул обнимать и звать «Мартышкой». Несносность его крепла ещё два месяца.

Но исповедь предполагает осуждение себя, а не других, и он силою стал наводить мысль на хорошие черты Лермонтова, похвалы которым он и не думал скрывать. Первыми в их списке были: очень белые, удобные для насмешника зубы, даже слишком крепкие и сильные для дворянина, и неизменно безупречное бельё. Следовало одобрить и халат цвета тины, опоясываемый снурком с золотыми желудями на концах. Хваткие руки ниже запястья — благородной формы и белизны, ладони свежие, с примечательным раскладом ли-

ний, по цыганской грамоте — неблагоприятным. Мартынов кочующим и прочими племенами гнушался, вещунов избегал и ладонью разбрасывался с предосторожностью, потому что усвоил и передал фамильную — лучше бы сказать по-французски! — потливость, относящуюся не к исповеди, а к нашему злословию. К достоинствам Лермонтова относились также: превосходная ловкость в обращении с оружием всех видов, даже и с рапирой, не давшейся Мартынову из-за чрезвычайного страха щекотки, точное и смелое чувство лошади (при некрасивой посадке), замечательная лёгкость в танцах. Кабы не преувеличены им до крайности, могли нравиться в нём общие для гусар отличия, в ту пору ещё соблюдаемые. Так, он нисколько не щадил денег (правда, не был учён нуждой), в удалом кутеже оставался трезв, лишь бледнел и темнел глазами, был беспечен к опасности и, хотя мало кого любил, любого мог заслонить в походе (отчасти из-за своего фатализма). И всё же хорошим офицером он быть не мог, так как не терпел подчиняться, не скучал о наградах и вынужден был примирять выдающуюся храбрость с непреодолимым дружелюбием к строптивым инородцам, населяющим Кавказские горы. Да и дурное сложение не обещало успехов ни в кавалерии, ни тем более в пешем фронте.

Тут он осёкся, вспомнив о докучливых ревнителях лермонтовской славы, движение которой во времени его удивляло и беспокоило. Он не знал давнего рассуждения Т.А. Бакуниной, грустившей о нравах слепого и неблагодарного общества, но с начальной его частью прежде мог согласиться: «Об Лермонтове скоро позабудут в России — он ещё так немного сделал...» Ах, всё обернулось иначе, и он взял более современный и учёный тон.

«Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умён, а многие видят в нём даже гениального человека».

К нему самому как раз этой стороной своей личности Лермонтов совсем не оборачивался, да и от других норовил её скрыть за видимым легкомыслием и шалопайством. Он и с Белинским вначале не хотел серьёзничать, дурачил и мучил его до болезненной вспышки щёк и, кажется, очень был доволен, что сумел-таки произвести тяжелое и даже пошлое впечатление, отпраздновав эту победу резким смехом. И только в ордонансгаузе не смог утаить себя — и как счастлив, как влюблён сделался пылкий Белинский, не когда-нибудь через сто лет, а сразу, немедленно постигший, с какой драгоценностью имеет дело, и оповестивший о ней с обожанием, принижением себя, с восторгом.

Лермонтов и для шахмат искал только сильных партнёров, особенно отличая поручика Москаleva (да и того обыгрывал). В более таинственные и деликатные игры ума Мартынов и вовсе не мог быть приглашён и не находил их занимательными. А всё же он и сам знал об этом общеизвестном уме, что он, точно, есть у Лермонтова, — и по убедительной наслышке и по своему почтительному доверию ко всему непонятному, утверждавшему его причастность к мыслящему кругу. Так хорошие жёны вяжут при мужской беседе, не вникая в её смысл и пребывая в счастливой уверенности, что всё это очень умно и полезно для общества, в чьё умственное парение и они сейчас вовлечены.

Хорошо, что автор исповеди не может через наше плечо увидеть этого неприличного сравнения! Он твёрдо знал и любил свою принадлежность к полу метких стрелков, стройных наездников, бравых майоров (в отставке). А ведь было в нем что-то дамское, что разглядел за усами капризный коварный ангел польского происхождения, толкнувший к нему бальным веером тёплый воздух дурмана, заменяющий твердое «эль» заманчивым расплывом голоса и взятый им в жёны. Не то чтобы она стала ревновать его к фланонам, ат-

ласу и книжкам, галантно обращенным именно к читательницам, но, после недолгой приглядки, возвела себя в чин грубого превосходства и на все его соображения отвечала маленькой улыбкой сарказма и нетерпеливым подёргиванием башмачка — и это, заметьте, не только тет-а-тет, но и на виду у посторонних.

Мартынов не отрицал пользы глубокомыслия, но, если очень умничали при нём, он томился, непосильно напрягал брови, и жаль было его невинного лба, повреждённого морщиной недоумения. Застав его лицо в этом беспомощном положении, Лермонтов взглядывал на него с пристальным и нежным сочувствием, но тут же потуплял глаза для перемены взора на дерзкий и смешливый. Оба эти способа смотреть на него равно не устраивали Мартынова. Тем не менее он продолжил:

«Как писатель действительно он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его ещё не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод...»

С наивностью, которую в нём многие любили, он ни в какой мере не соотносил себя и то обстоятельство, что молодость осталась основным и окончательным возрастом Лермонтова. Что касается до положительной оценки его как писателя, то лукавил он лишь в том, что вообще пустился в это рассуждение — для необходимой поблажки затаившимся недругам. Разумеется, знаменитый роман Лермонтова, минуя описания природы и другие длинноты, он очень даже читал, поощряемый естественным любопытством просвещённого человека, а ещё более — необоснованными наветами, сближающими Грушницкого чуть ли не с ним самим, а княжну Мери, что и вовсе глупо, — с сестрой Натальей Соломоновной. Не отрицая живости некоторых эпизодов, он не одобрял общей, предвзятой и искаженной картины той жизни, которой сам был не менее автора свидетель и участник.

что во главу не только романа, но общества и века поставлен был озлобленный и безнравственный субъект, присвоивший сильно приукрашенные и всё же неприятно знакомые черты, казалось ему нескромным и оскорбительным самоуправством. Он не знал что совпадает во мнении со своим августейшим тёзкой, с той разницей, что тот не имел нужды стесняться и прямо определил роман как отвратительный. Вообще о высочайшей неприязни к Лермонтову он был извещён и оценил её чрезмерность невольным пожатием плеч, словно ревнуя к столь сильному монаршему чувству, из излишков которого получилась мимолётная благосклонность к нему самому. Государь, в свою очередь, не знал, что по художественному устройству натуры имеет близкую родню в отставном артиллерийском майоре, с той разницей, что тот не должен множить личные пристрастия на общегосударственные опасения.

Читал он и другие произведения Лермонтова. Те из них, которые были ему понятны, он считал простыми и незначительными (что ж мудрёного слагать рифмы, он и сам их слагал), а более трудные и возвышенные могли быть отнесены к поэзии, да он не был до них охотник. Вольнодумство, сверх обязательной, принятой в его кругу меры, на его взгляд, никак не сочеталось с гармонией. Ему случалось слышать, как Лермонтов, не сдержав или принудив себя, говорил вслух свои стихи, но тогда Мартынова отвлекало и настораживало лицо Лермонтова, и он опять начинал ждать этого, сначала сострадающего, а потом весёлого взора. Он не любил заставлять на себе неожиданно мягкие, любящие и словно прощающие глаза Лермонтова, ненадолго позабытые им в этом выражении — до скорого пробуждения зрачков в их обычном, задорно-угрюмом виде. И последнее мгновение жизни Лермонтов потратил именно на такой — ласковый, кроткий, безмятежно выжидавший — взгляд. И то, что этот взгляд не

успел перемениться, было неприятно Мартынову, потому что такие глаза могли быть только у человека, который не помышлял о прицеле, не хотел и не собирался стрелять и, стало быть, был безоружен, и Мартынов это видел, и все наблюдатели поединка тоже видели. Это было неприятно, это было очень неприятно, но Мартынов стал исповедоваться не в этом, а в дурном отношении Лермонтова к женщинам.

Толковал он об этом и той, которая так выразительно подтвердила справедливость мнения о непреклонной гордыне, присущей полькам вместе с редкостною белизной кожи. В ответ на досадные и неуместные расспросы он горячился, нахваливая свой, противоположный лермонтовскому, способ влюблённости, включающей в себя открытое обожествление выбранного предмета, восточную витиеватость речей и особенные посылки томного взора. Это вело к усилению саркастической улыбки, учащённому и злобному выглядыванию башмачка и перелёту глаз на потолок, где, высоко вознесясь над головой красноречивого супруга, молчал и злорадствовал прельстительный господин Печорин. В результате этой многословно-безмолвной распри он, постыдно мучаясь, стал относить выбор жены не к себе самому, а к тому, чьё присутствие в его судьбе оказалось непреодолимым и нескончаемым. Приметы других людей не исчерпывались чином, титулом, занятием и требовали личного уточнения: тайный советник — какой? — Беклемишев, князь — какой? — Щербатов, поставщик — какой? — Френзель. Даже про самодержца всея Руси можно было спросить: какой — почивший в Бозе или царствующий ныне? Его же роковое звание было единственным и сводило на нет значение имени, сопровождавшего развитие многих поколений. Он был — такой-то, убийца Лермонтова, и она стала — такая-то, жена убийцы Лермонтова. Впереди маячили такие-то: сын убийцы Лермонтова, внук убийцы Лермонтова и так до скончания ставшего

безымянным рода. Между тем он знал, что убийцами бывают нехристи с большой дороги, душегубцы, лютые до чужого богатства, всклокоченные маньяки. А он был благородный человек, христианин, офицер, имел дом в Москве, поместье, слуг, лошадей, столовое серебро, изрядную французскую библиотеку, превосходный гардероб и никак не мог быть убийцей. Вначале он не тяготился этим определением — оно шло к его белой черкеске и чёрному бархатному бешмету и как бы проясняло наконец их таинственный оригинальный смысл, оказавшийся совсем не смешным, а величественно важным и печальным. В пору плохих ожиданий, гауптвахты, следствия он делал столь сильное впечатление на дам, что шестнадцатилетняя Надя Верзилина едва не лишилась чувств, завидев его на пятигорском бульваре под стражей сонного и боязливого солдата. Старшая, Эмилия, больно поддержала сестру за локоток и учтиво залепетала о том, о сём, далёкими кругами обходя главное, а оно во все её глаза смотрело на Мартынова, — он улыбнулся снисходительно и скорбно и пошёл прочь. В этом ореоле явился он в Киев для церковного покаяния, мысленно примерял его, снаряжаясь на балы, им нечаянно обманул белейшую польку, согласную на любую опасность, кроме скуки, из которой она вышла благополучно — бывшей женой убийцы Лермонтова. Он страдал и простил.

Вот он сидит, освещённый убывающим пеклом июльского дня. Последние тридцать лет не прошли ему даром: победневшие волосы далеко отступили ото лба, в щеках близко видна подноготная сеточка отмершей крови, ему мало осталось жить (он не знал: четыре года). Смилуйтесь над ним — он не похож на убийцу. Матушка, голубка, провидица, она-то гением любви всегда вблизи Лермонтова страшилась за чад своих, зорко смотрела за дочерьми, особенно за Натальей, а надо было держать сына, жадно притиснув его

голову к себе, к охраняющему теплу, в котором он так беспечно спал до рождения. Ещё в сороковом году она писала ему на Кавказ: «Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык...» Он читал это письмо в застарелом зное, размытый целебной силой воды, ему хотелось Москвы, ещё не освоившей лета, только что в сирени и кисее, дома, населённого барышнями, сквозняками, гостями — под чётким приглядом материнских глаз, и в молодости очень трезвых и способных к счёту. После кончины батюшки, постигшей их в прошлом году, маменька словно увеличилась телом, окрепнув для одиноких вдовьих забот, и глядела не дамой, а будущей тёщей, свекровью и бабушкой. Он с неудовольствием видел, как вместо него Лермонтов одолевает лестницу своими крепкими скачущими ногами и ловко склоняется к руке, для него чужой и безразличной, а для Мартынова желанной и лучшей. Как он, может быть, целое мгновение осмеивает ванильный запах и деловую прочность этой руки, а матушка неприязненно глядит на его голову, помеченную светлой шельмовской прядью. Оба они успевают пригасить и поправить лица к началу любезной беседы, и уже слетаются со всех сторон шелест, щебет, каблучки и оборки. Или воображал, как Лермонтов входит к сёстрам в ложу и Наталья долго не оборачивается, подвергая его весёлому взгляду голую, вдруг озявшую спину и всевидящий край милого напряженного глаза. Привлекательность, радостная и необходимая в других женщинах, в сестрах казалась ему рискованной и обречённо-беззащитной, а применительно к Лермонтову требующей неусыпной старшей опеки. Это сильное чувство, разделяемое матерью, он не использовал для своего удобства во время печальных объяснений: нет, злобы не питал, предлога для ссоры не искал. В то последнее лето язык Лермонтова был таков, как указывалось в письме, и ещё хуже. Нервы

Мартынова, ощетинившись для защиты, затвердели в этой оборонительной позиции и очнулись только тогда, когда Лермонтов лежал на земле под дождём, а сам он вслепую скакал к коменданту. Но не в злоязычии винил он Лермонтова, а в том, что он завлёк в свою сильную предрешённую судьбу постороннего человека, чей путь лежал мимо, но его позвали — он подошёл, показали бездну — и она его втянула. Повитуха, проводившая младенца на свет, цыганка, отпрянувшая от ладони, петербургская ворожея, прозванная «Александром Македонским» и знаменитая не менее полководца, иные люди, умеющие не предвидеть, а видеть, обещали Лермонтову раннюю и не свою смерть. Но ему мало было предопределения — он вольничал с небом, накликал на себя его раздраженное внимание, сам напоминал провидению о своей скорой гибели, и, только когда всё определилось и гроза откликнулась ему, он успокоился и стал говорить Глебову о жизни, о двух задуманных романах. В тесных отношениях Лермонтова с роком не оставалось места ни для кого другого, но образованный ими вихрь воздуха вкругтил в себя тех, кто неосторожно стоял поблизости, и в первую очередь — Мартынова. Недаром все участники события вели себя как зачарованные и не предпринимали никаких самостоятельных действий.

Он сознавал недостаточность этого мистического объяснения для пристрастных судей: если считать, что гибель Лермонтова была предрешена свыше (не уточняя степени высоты), то всё-таки почему осуществил её именно он, а не, например, Лисаневич, принявший свою долю насмешек и склоняемый к мести? Лисаневич пусть как знает, а сам он знал публичной обиде один ответ и продолжение вызова кутежом в обнимку считал ниже чести. Да велика ли была обида? Ну, горец, ну, с кинжалом, и Наденька Верзилина засмеялась сквозь веер, а Эмилия рассудительно заметила:

«Язык мой — враг мой». Не в «горце» и не в Наденьке было дело, а в том, что Лермонтов опять не считался с независимым значением его личности, с его избранной отдельностью, объявленной в романтическом и стилизованном облике. А потом — никогда не мог он предположить, что для огромной смерти человека достаточно столь малого, меньше мгновения, времени, он только пальцем пошевелил — и сразу была одна смерть, без умирания, без единого, ещё живого, движения, даже без последнего выдоха, сделанного уже по другую сторону вечности, при перенесении тела с тропы.

И вот Лисаневич давно забыт, а сам он, через тридцать лет после этой мгновенной и окончательной смерти, не может высвободиться из защемившего его тупика: он хотел не убить, а чего-то другого, но какое же другое поручение можно дать посланной в сердце пуле? Ему нужно было объяснить, что разгадка относилась к характеру Лермонтова, который как бы выманивал пулю из ствола еще со времён их юности.

«Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школьником в полном смысле этого слова».

Но он забыл, что прежде писал об этом иначе:

«Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие ещё взглядывались в жизнь, он уже изучил её со всех с торон; годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой».

Он стал припоминать Лермонтову его маленькие жестокости, деликатно доказывал, что тот всегда был ловким и опасным раздражителем гнева. Но ему уже скучно становилось. Лоб, истомлённый дневной натугой, норовил отвернуться от бумаги к более близким и важным заботам. Хотел-

лось есть — не весело, по-молодому, а оттого, что надо же когда-нибудь есть. Но он ещё написал:

«Генерал Шлиппенбах, начальник школы...» Это были его последние слова о Лермонтове.

II

ПИСЬМА Первое (почерк автора записок)

Дорогой и глубокоуважаемый Павел Григорьевич!

Как и все Ваши верные читатели, я люблю и благодарю Ваши «Сказки времени» — за всё и за «Казнь убийцы», покаравшую Мартынова долгим мучительным возмездием: появлениеми убитого Лермонтова в его доме и саду, в его убывающей жизни.

Не посчитайте ослушанием или сомнением в Вашей безусловной художественной правоте моё твердое убеждение, что Лермонтов не являлся и не снился Мартынову. Мартынову и до Сальери (во всяком случае, до пушкинского) — слишком далеко, хоть он и писывал стихи, чья бедная нескладица всё же не была его страстью и манией. Значение Лермонтова задевало его только как житейское неудобство для самолюбия. Его маленькое здравомыслie не допустило бы и не узнало видения и не приняло бы от него пытку. Для подобной муки его воображение и его совесть были слишком мало развиты. Может быть, именно его неодарённость, исчерпывающая и совершенная, как одарённость Лермонтова предопределила несчастную связь этих имён в русской истории.

Но всё это известно Вам лучше, чем мне, и я попусту расточаю Ваше время. Примите мою почтительную любовь и пожелание прочного здоровья.

Второе (почерк П.Г. Антокольского)

Дорогой друг!

Жизни Пушкина и Лермонтова настолько невероятны, так полны множества вариантов, непредвиденных и выходящих за пределы обычного человеческого пути, что здесь не оберёшься удивления, восторга, печали и всех других чувств, мешающих трезвой оценке.

Лермонтов — обжигался и обжигал других. Такая же острота была в его героях: в Печорине, Арбенине и прежде всего — в Демоне. При всех неустанных и доскональных исследованиях, Лермонтов — одна из самых волшебных сказок, раскрытых навсегда и никогда не досказаных до конца.

Что же до его убийцы, то скажу прямо: моя сказка об его казни вообще не должна была быть написана. Никакие домыслы и вымыслы об этом пустом месте, об этой пропавшей грамоте — просто не нужны. Мартынов сгинул так же, как Данте. Оба они случайны, как соседи в вагоне. А жизням Пушкина и Лермонтова конца не предвидится. Только это есть и будет всегда — аминь во веки веков. Нам остаётся радоваться их присутствию и учить радоваться всех, кто придёт после нас. Насчёт Мартынова можно выдумать множество концов. Но если правда, что люди или само время разорили и развеяли его прах, — это лучший и окончательный конец.

А как было бы хорошо сейчас поехать к Пушкину в Михайловское или к Лермонтову в Пятигорск, вновь найти их там и вновь искать повсюду!

Желаю лучших радостей, которых всегда вдоволь на белом свете!

П.А.

Третье (автору записок от неизвестного лица)

Эй, вы повсюду разбрасываете ваши писания, в которых черт ногу сломит, и я кое-что прочел. Моя фамилия не Мартынов, но я слышал от бабки, что прихожусь тому Мартынову какой-то тридесятой роднёй. Мне это совершенно безразлично, но вам я с удовольствием об этом сообщаю. Не думайте, что, если кто-то что-то пишет, он может хамить. Например, я бы с радостью проучил вас за «фамильную потливость», вернее, за вашу подлость, тоже, наверно, фамильную. Так что учтите.

Четвертое (ответ на предыдущее)

Милостивый государь!

Я еще раз невольно затрудняю Вас, обращаясь к Вам столь вычурным и архаическим способом, но Вы не оставили мне другой возможности, любезно сообщив о себе только то сведение, что Ваша фамилия — не Мартынов.

Не зная Вашего адреса, я вынужден с особым усердием разбрасывать мои писания в надежде, что они снова попадутся Вам на глаза и Вы не преминете известить меня о всех условиях, угодных и удобных Вам для того, чтобы «проучить» меня или удовлетворить меня как должно.

Что касается Вашего удовлетворения, я специально ради него снесся с доверенным лицом из управления аптеками и теперь имею основание и удовольствие рекомендовать Вам польское средство «Дезодоро» как лучшее.

Засим — прощайте.

III

ТОТ ЖЕ ИЮЛЬ, НО НЕСКОЛЬКО ПО-ДРУГОМУ

В том же июле тот же неказистый господин, который соринкой залетал Мартынову в угол глаза, объявился в совершенно другом месте и пытался проникнуть в покой князя Васильчикова, куда его не пустили — и правильно сделали Плохой вид этого господина, не то, чтобы нетрезвый, а какой-то парящий, его платье, устаревшее до лысин и подтёков, позволили нижним лестничным чинам полюбопытствовать: какую нужду имеет он к их сиятельству? Дело свое неизвестный удержал в тайне, но не скрыл, что был обрызган грязью из-под копыт княжеского коня во время грозы тридцать лет назад. Ему тут же заметили, что за это время можно было бы пообчиститься и что та лошадь давно уже покойники и отвечать на его претензию не могут. Князю Александру Илларионовичу об этом маленьком случае не докладывали, а комнат за шесть по сквозной анфиладе от его кабинета осведомились: как быть с неопределенным просителем? Последовал ответ: ободрить деликатной наградой и отпустить с Богом. Захудалый человек поупрямился и погордился, но — что было делать? — взял подаяние, заверил глупую челясть, что употребит его на помин чьей-то души, сошел с крыльца и исчез.

Тем временем Александр Илларионович Васильчиков, свежий, лёгкий и не повреждённый прибылью лет, задумчиво трудился при сильных настольных свечах. Острое внимание публики к трагическим делам давно минувших дней касалось и его — не так близко и больно, как Мартынова, но достаточно заметно. Среди исследователей, вернее, добровольных и запоздалых следователей, отличался тщательный П. К. Мартынов, задорно окликнувший его в статье прошло-

годного журнала. Если Мартынов прямо выводился убийцей и с него, в нравственном отношении, были взятки гладки, то на князя Васильчика рас пространялась пристальная двусмысленная вопросительность. Он был не только единственный живой свидетель, он был секундант Лермонтова, то есть последняя и важнейшая опора его жизни и чести. Жизнь была упущена беззаботно и сразу, после чего он принял с большим достоинством оберегать честь Мартынова — как свою. Поединку сопутствовала известная неопределенность и темнота обстоятельств. Не в том было дело, что участие в нём Столыпина и Трубецкого — из разумных и благородных соображений — было скрыто от официального следствия, а в том, что и участия никакого не было, кроме беспечного присутствия. Оставшиеся Васильчиков и Глебов в точности не проследили распределения своих ролей и обязанностей, сведя их к отмериванию тридцати шагов. По дуэльному кодексу секундант не должен был и не имел права заслонить собою уполномочившее его лицо, но предполагалось, что в нём достанет для этого невозможного жеста пристрастия и заинтересованности. Так что Лермонтов, окруженный друзьями, один из которых в него целился, у подножия Машука, как всегда, был один-одинёшенька.

Но в чём мог винить себя князь Васильчиков, кроме крайней молодости и проистекавшей из нее неосмотрительности всех участников, — ему самому шел тогда двадцать второй год? Он удостаивал своих критиков не исповеди — исповедоваться не в исповедальне было то же самое, что ходить нагим не в бане, — а внятного, делового и спокойного ответа. Тому же всегда он учил Мартынова, да не очень на него полагался. Он не ожидал, конечно, что всё упрётся в генерала Шлиппенбаха — что такое Шлиппенбах и при чём тут Шлиппенбах? — но и на что-нибудь совсем другое рассчитывать не приходилось.

Он писал быстро, толково, хорошо. Невиновность Мартынова и его самогу просто и ясно доказывалась всё тем же несчастным характером, сопутствующим гению. Он тоже перечислял шалости, проделки и несносности, опуская те, от которых сам хлебнул горюшка, вплоть до последней дерзости, стоившей Лермонтову жизни. Он выразил было сомнение в справедливости столь высокой цены, но, сдерживающий безупречной корректностью, зачеркнул эти слова. Картины общества и природы равно удались его перу. Осторожно и отважно упомянул он ту, опасную для Лермонтова немилость, которую только с большим преувеличением можно было назвать опалой небес. Сдержаный и независимый тон заметок соответствовал просвещенному уму и превосходной подтянутости духа. Смерть Лермонтова выглядела его собственным поступком, и возможные уточнения представлялись Мартынову. Так что в результате получался всё тот же Шлиппенбах.

А невзрачный незнакомец давно уже сидел в трактире, одной рукой наливал себе угощения, а другой удерживал от падения свою никому не нужную голову. Иногда он встряхивался, взгляд его взмывал, руки освобождались для большого жеста, и на губах закипала невнятная гордая речь. Так что баба, выпущенная из грязных кулис для вытирания столов, оглядывалась на него с сомнением, пока не рассудила, что это, видно, актёришка бедный, выведенный из ума нуждой и вином. Но вокруг и другие театры разыгрывались — со слезами, пением и сильным в克莱иванием губ в чужое, вдруг полюбившееся лицо.

Между тем наш плохонький человек говорил:

— Я, князь, не беседы с вами искал. Я искал пить с вами вдвоём и напиться, как свинья и свинья. Вы теперь одни мне ровня. На нас с вами одна кровь. Вы соучастник ее пролития и я. Только вы и тогда были трезвы, а я пьян. Я действовал по

службе, а вы — по дружбе. Я сам обрёк мою душу бессрочной каторге, сто лет пройдет, а не кончится ее срок. Вы же теперь пишете, и я отсюда могу читать описание ваших миролюбивых усилий. Полноте, князь. Не в том ваша вина, что вы не слишком благоволили к вашему приятелю и не пеклись о его невредимости — насильно мил не будешь. А в том, что на этом основании вы не могли сказываться его секундантом, тем более что поначалу господин Глебов взял на себя эту роль. Э, да что теперь говорить. Единожды солгавши... вы, князь, сами знаете.

Тут он занял уста питьём и умолк. Потом стал заглядывать себе за пазуху, в удущливую тьму, где таился и стесненно поблескивал маленький драгоценный предмет, посмеиваться на этот предмет и приговаривать:

— Ай да мадемуазель Быховец, ай да Катя! Одна только и осадила убийцу! Мартынка, говорит, глупый... ха-ха... ужасно, говорит, глупый Мартынка!

Но смех скоро сошел с его лица, он сидел недвижно и молча, пока тоска и уныние не увеличились в нём до страсти и не вознесли его над нечистым столом для последнего монолога:

— Алексей Аркадьевич Столыпин, более извести как Монгу! Целое общество равнялось на вашу доблестную высокородную осанку, и ни в ком другом не видел я такой вельможной и вместе добродушной стати. Про вас говорили, что вы образец красоты и порядочности для своего времени, и многие женщины оплакали вашу кончину под флорентийским небом. А я говорю вам, что в вас было ровно столько души и ума, сколько нужно для великолепного лоску. Что вы сквозь лениво разомкнутые пальцы пропустили, как ненужную воду, жизнь вашего родственника и друга. Что я из моего ничтожества смею взвывать к вашему и что я презираю вас!

Устрашив и унизив таким образом благородную тень, обеспокоенную ради этого вздора, обличитель пал духом и разрыдался, укрывая лицо и некрасиво дёргая плечами.

— Я и сам, по мере сил моих, созидал вашу гибель, но знать это вам не так было бы обидно, как слова мои о вашем товарище,— уж вы, снизойдя к моей жене, разом за всё прощите меня, Михаил Юрьевич, голубчик..

Эти самонадеянные и скорбные слова также остались без всякого внимания, потому что в такие места люди ходят для своих горестей, а не для чужих. А порядочные люди и вовсе не ходят, используя благодатные вечерние часы для составления важных заметок или чтения книг, пока музыка вылетает в окна нижнего этажа и придает сумеркам сада особенную красоту и печаль.

IV

Письмо пятое (автору записок от еще одного неожиданного корреспондента)

...!

Не зная вашего имени и не сожалея об этом, довожу до вашего сведения, что моя фамилия,искажённая давнишней писарской ошибкой,всё-таки, сколько я знаю, указывает на мою принадлежность роду Васильчиковых. Но мое возмущение вашими домыслами носит не семейный, а объективный характер. Хочу напомнить вам, что Александр Илларионович Васильчиков, которого вы, злоупотребляя своей безнаказанностью, опугали недостойными намёками, был известный публицист, прогрессивный деятель, хлопотавший о нуждах земледельцев и даже привлеченный к подготовке реформы 1861 года. Не сомневаюсь, что, несмотря на молодость и неопытность, а также на неуместные вольности и эпиграм-

мы в его адрес, он был искренний и терпеливый доброжела-
тель Лермонтова и во время его дуэли честно соблюдал дол-
жные правила. Он тяжко переживал его гибель, что подтвер-
ждает его письмо к приятелю, приведенное в сборнике вос-
поминаний, который вы, как я вижу, изучили тщательно, но
без пользы. Так или иначе, у вас нет улик против Васильчи-
кова и других участников события, и вы вынуждены заме-
нять их недомолвками, равными клевете, достойной наказа-
ния. Жена моя особенно оскорблена за А. А. Столыпина, бли-
жайшего друга Лермонтова, первого переводчика на
французский язык «Героя нашего времени» и безукоризнен-
ного, на её взгляд, человека.

Подтверждаю моё возмущение.

А. Весельчаков.

Шестое (ответ)

Досточтимый и любезный А. Весельчаков!

Не умея отгадать, какому случаю обязан я Вашей осведом-
лённостью в моих записях, прогневивших Вас, я должен на
него же рассчитывать, чтобы несколько Вас успокоить.

Не слишком терзайте себя тяжкими переживаниями Ва-
шего предполагаемого пра-родственника. В известном Вам
письме, сразу за словами о Лермонтове: «Жаль его!» и прочи-
ми, следует грустное, но спокойное описание водяного об-
щества, стёкол, вставленных в окна гостиницы, и вечерней
музыки. Это оставляет нам надежду, что за две недели, про-
шедшие после поединка, автор письма успел совладать со
скорбью о понесённой утрате. В этом же документе А. И. Ва-
сильчиков объявляет себя секундантом Лермонтова, но, ког-
да, спустя много лет, Висковатов попробует уточнить это об-

стоятельство, он даст ему уклончивый и невразумительный ответ: он не знал, интересы какой стороны ему вверены, и не мог оберегать их. Если у Вас есть на этот счёт сведения, противоположные моим, я с облегчением принесу Вам мои извинения. Пока я вынужден называть роль князя Васильчикова в судьбе Лермонтова неблаговидной. Восхищаясь широтой, с которой Вы считаете Вашего подзащитного однофамильцем и роднёй, я готов незамедлительно ответить за мои слова, оскорбительные для Вашего сёместа. Чтобы Вас не стесняло превосходство Вашей генеалогии, напоминаю Вам, что в старину татар-старьёвщиков величали «князьями», а я имею в их почтенной среде предка, чья фамилия перешла ко мне без изменений.

Совет: несмотря на его смерть в Италии в 1858 году, бдительно остерегайтесь А. А. Столыпина (Монгу). Пристрастие к нему Вашей жены уверяет меня в ее недовольстве Вашими внешностью и манерами. В отличие от своего двоюродного племянника, он может иметь живые копии и повторения и стать Вашим соперником.

Всегда к Вашим услугам.

Седьмое (автору записок от незнакомой дамы)

Не ждите ответа от моего мужа — он солидный и уравновешенный человек. Повидайтесь лучше со мной! Ваше высокопарное хамство мне симпатично. Так и быть, уступаю Вам ни в чём не повинного красавца и соглашаюсь говорить о Лермонтове. Я — по образованию — психолог, и психология творчества представляет для меня особенный интерес.

Итак — жду Вас и не скрываю нетерпения.

A. Весельчакова.

(На письме, видимо, оставленном без ответа,— приписка адресата:

Когда, меня избравши наобум,
ты ждешь меня, прелестница психолог;
я не страшусь, что короток твой ум,
но трепещу, что волос твой не долог.

Я не ищу учёности очей!
Хоть в том не велика моя заслуга,
я, психикой и логикой моей,
спасаю честь беспечного супруга.)

V **КАВКАЗ, НАШИ ДНИ** **(Продолжение записок)**

Опоздав на сто тридцать один год, бродил я по Пятигорску и всюду видел только то, что опоздал непоправимо. Воздух маленького белого домика был неодушевлённый и совершенно пустой — душа приидирчиво его обыскала и отвергла как явную подмену, а на что, собственно, она надеялась? Я сразу ушел, хотя в саду трогательный запах цветущих растений ластился и цеплялся к лицу, словно обещал, что не всё еще потеряно и где-то в его сложной сумме таится искомое дыхание. Но у меня было ощущение, что я мчался к кому-то сломя голову, а его не оказалось на месте, и потому к самому месту я сделался несправедлив и слеп. С тоскою уставился я на Машук, увенчанный телевизионной башней, распространявший вокруг себя незримое марево дневных новостей.

Возле обелиска на месте дуэли теснилось множество людей, и твердый женский голосок уже подошел к вечеру три-

надцатого июля в доме Верзилиных. Я торопливо отступил к павильону, где, не устрашённая величием смерти, длилась живая, насущная жизнь, поглощающая чебуреки и веселое едкое вино. Неподалеку от меня поместились два человека, чье знакомство казалось недавним и неблагополучным. Первый — большой, распахнутый, с мелким угрюмым исподлобьем и ленивыми мышцами на сильных белых руках — опекал и угощал второго — хрупкого, деликатного, может быть, кандидата наук, очень подавленного непрошеным покровительством. Глава их маленькой компании загрызal сырватое тесто и пил портвейн. Милость его к собеседнику росла, и тот робел, давился, но кротко внимал благодушным наставлениям.

— Ты держись меня, не то свихнёшься от скуки. Я тут седьмой год отдыхаю. Я все эти байки про Лермонтова не хуже доцентов знаю. Была тут одна экскурсоводка приятной наружности, так я притиснул ее в аллее для культурной беседы — плакала, а призналась, что всё это из-за бабы произошло. Писал-то он хорошо, да выглядел плохо: ноги кривые, лицо желтое (наука это, конечно, скрывает). А этот, который его потом убил, был видный, приметный мужчина, вот он и перебежал ему дорогу.

С этого момента его речи в меня стала поступать какая-то замечательная лёгкость, словно я спал и собирался лететь. Верзила рассуждал, а две боязливые, с бледной шерстью собаки из осторожного отдаления смотрели на забытый им чебурек, истекающий масляной жижей. Вдруг он обернулся и неожиданно резвым и точным жестом ткнул в собачью морду окурком — обе собаки отпрянули и скрылись. Дальнейшие мои действия совершились помимо меня, как если бы они были не поступком, а припадком, но размежено и даже плавно. Я подошел, заботливо взял в одну руку скользкий расстёгнутый ворот, в другую — раскалён-

ный остаток сигареты и стал медленно приближать его к растерянному, неподвижному лицу. Я не знал, чего я хочу, но я бы ужаснулся, если бы понял, чего я тогда не хотел: я не хотел, чтобы он топтал эту гору, жрал воздух, чтобы девушка, знающая наизусть столько стихов, плакала от ужаса в аллее, чтобы собаки, рождённые для доверия и любви, шарахались в сторону при виде человека,— я не хотел, чтобы он жил. Мне казалось, что всё будет хорошо, стоит только свести воедино его лицо и окурок, но в это время кто-то повис у меня на руке, и все участники сцены словно проснулись. Первое, что я услышал, были слова: «Благородный молодой человек!» — с ними обратился ко мне тот, кто до сих пор удерживал мою руку с тлеющим табаком. Вид его поразил меня. Он был очень бледен, не бел, а прозрачен, как засушенный лепесток, зрачки казались чуть гуще воды, как талый снег, волосы слабы, как у новорожденного, ветхие плечи и ноги облачены во фрак и панталоны расхожего покроя начала прошлого века, в свободной от меня слабой руке колыхался антикварный цилиндр. Пока я озирал его причудливую и бедственную внешность, те двое исчезли, я даже не успел обдумать, почему я, вплотную приблизившись к целости и сохранности одного из них, не встретил никакого сопротивления.

Не зная, чему приписать странность моего усмирителя: цветению местной самодеятельности или беде одинокой нездоровой души,— я тихонько отнял у него мою руку и неловко спросил:

— Может быть, вы не откажетесь съесть что-нибудь? Или выпить?

Жидкость в его глазах увеличилась и чуть не перелилась через край. Он отвечал мне с большим чувством и со странным, смущающим разум акцентом — несомненно русским и в то же время никогда мной не слышанным:

— Если бы вы знали, кто и когда обращался ко мне в последний раз с таким же любезным предложением! Нет, вы не то подумали — я не имею нужды в еде. Просто тот случай был для меня драгоценный и даже переменивший всю жизнь мою, но пока я не решаюсь вам признаться.

Я испытывал при нём безвыходную тревогу, как будто должен был вспомнить что-то, чего не знал. Мы попрощались, и мне было заметно, что он долго и пристально смотрит мне в спину.

Лермонтов примечал, что среди извозчиков много осетин. Много их и среди таксистов. Мой был упрямейший из них и согласился везти меня после долгих и мрачных пререканий. Я хотел проводить Хромого Хусейна и к ночи вернуться обратно. Хромой Хусейн был мой друг, мой кунак и даже мой брат. Мы познакомились в Москве, где он постоянно волновался и ликовал, как на празднике. Он шел с банкета, с радостью вина и дружбы в душе, и я шел себе по улице — он оглядел меня с пылкой симпатией и спросил: не казах ли я? Я отвечал, что нет, но он с этого места улицы стал дружить со мной и всё-таки считать меня казахом. В детстве Хусейн (хромым он стал потом, после того, как упал вместе с лошадью) жил в Казахстане. Его отец сражался на фронте, а мать болела и не умела жить вдали от родины. Так что Хусейн с матерью стали совсем погибать, но казахи поделились с ними всем, что имели, и спасли их для долгой жизни, для встречи с отцом, для родных гор. Поэтому Хусейн так сильно и верно любил казахов. Мы не расставались несколько дней, и я любовался его изящной худобой, скучающей по коню, вспышками добрых глаз и неукротимой страстью к дарению. Между прочим, Хусейн особенным образом относился к Лермонтову и, наверное, в глубине души считал его отчасти казахом. Он с живостью одобрял его храбрость, способности к верховой езде и — это во-первых! — расположение

жение к народам Кавказа, которые Лермонтов, как и все русские в то время, неточно отличал один от другого и часто смешивал кабардинскую и «татарскую», то есть тюркскую, балкарскую речь. Однажды Хусейн сказал мне:

— Ты не рассердишься, если я в чём-то признаюсь? Я рад, что Лермонтова убил русский. Не тому рад, что именно русский, а тому, что не наши его убили. Ведь царь на это надеялся. Если бы его убил горец, я не знаю, как бы я жил. Тогда война была, а в моём роду никто ни разу не промахнулся.

Вообще Хусейн глядел на Лермонтова не издалека, а из доверительной и задушевной близости. Он даже начертил мне план пространства, где носился и мыкался Демон, и получилось, что, направляясь в сторону Грузии и Тамары, Дух изгнанья неминуемо пролетал над родным аулом Хусейна.

Но не везло мне в этой поездке! Хромого Хусейна я тоже не застал, он теперь работал на далекой туристической базе, и старые его родители уехали к нему на субботу и воскресенье. Всё это сообщили мне его родственники. В первом ряду их собрания стояли зрелые и осанистые мужчины: Ишай, Данъял, Ахъя и Сафарби. Во втором — юноши, все с красивыми и доверчивыми лицами. За ними, вдалеке, разместились женщины и малолетние. Говорил только Ишай,— по-видимому, старший. Он же спросил меня: не казах ли я,— и мне жаль было сказать: нет. Вдруг все они пришли в волнение, те, кто курил, бросили и пригасили сигареты, стало совсем тихо, только Ишай успел шепнуть мне: Аубекир! Вот так Аубекир, подумал я, сразу же разделив общую робость и заведомое послушание. Аубекир был старый человек в крестьянской одежде, с лицом поразительной силы и гордости. Всё это лицо, тяжелое и золотое при солнце, было один спокойный и достойный ум, окрепший в трудах и тяжелых испытаниях до совершенства, до знания истины. В этом лице и в этом уме не было места для пустого и тщетного движения. Он гля-

дел просто и приветливо, но я был подавлен и стыдился всего, что знал о себе. Вдруг его лицо ослабело, расплывилось, растеклось, и я осталбенел от этой перемены, которая объяснялась тем, что, безбоязненно раздвигая старших родственников, вперед выдвигался мальчик, едва умеющий ходить, с крепким голым животом и круглыми черными кудрями. Аубекир схватил его и жадно понёс к глазам, и такая мощь нежности выразилась в его лице, которой достало бы целому многоопытному народу для раздумья о своей неистребимости, о призывающей жизни, уходящей далеко за горизонт будущего времени. Аубекир вскоре ушел. Мне объяснили, что меня повезут в горы, чтобы отпраздновать мое прибытие. Это будет как бы благодарственный пир — «курмалык» — в честь того, что несчастье нашей разлуки кончилось. Аубекир ушел раньше, потому что не любит ездить в автомобиле, хотя у него есть «жигули», — на этой машине отправимся мы, Данъял за рулем. Еще на равнине мы обогнали всадника, Данъял вежливо притормозил — тот слегка кивнул, позволяя ехать дальше. Солнце, уже близкое к горам, отражалось в его лице, в смуглой шерсти коня. Аубекир прямо смотрел на солнце, на блеск снежных вершин.

Уже горы теснили дорогу. Чтобы увидеть деревце на краю обрыва, надо было откинуть затылок на спину. Я не видывал такой высоты. Лермонтов не мог быть здесь — в то время эти места были закрыты для пришельцев, и предки моих спутников зорко смотрели за этим.

Всё сделалось очень быстро. У реки, принимающей в себя отвесный водопад, расстелили на земле скатерть, развели огонь. Всем ведал Ишай. Если он был недоволен помощью, он мимоходом шлёпал любого, и Данъял, сильнейший в их роду, по-детски прикрывался от него руками. Над шумом воды и огня главенствовал особенный звук тишины. При горах душа нечаянно подтягивалась, как при Аубекире. Аубекир

приехал к концу пира. К нему почтительно придвинули баранью голову и наполненный стакан. Он ласково кивал головой на заздравные тосты, но ничего не пил. Я шепотом спросил: почему? Ишай ответил:

— Аубекир никогда не пил. Он видел много горя. Две войны, чужбина, смерть близких и смерть маленького сына — чтобы пережить это, надо иметь много силы и много работать. Глаза его всегда были трезвые и сухие. Только две слезы побывали в них — когда он увидел горы после долгой разлуки.

Остальные мужчины пили весело, но без развязности и суматохи, как и подобает здоровым, сильным и добрым людям. Единственный среди них городской житель — Ахья — был слабее других. Они ни о чём не спрашивали меня, но смотрели с любовью и поощрением. И я быстро и крепко их полюбил, хотя обычно схожусь с людьми не просто и не близко. Я подумал, что Лермонтову было бы ловко и хорошо с ними. Вот бы он удивился, узнав от них, что Бэла — скорее балкарка, чем черкешенка, а всё остальное: ее красота, тоска, любовь и гибель — совершенная правда, происходившая не подалёку. И великий Карагез был балкарским конем, потому что по-балкарски его имя означает: «Черные глаза». У кабардинцев и черкесов другой, не тюркский, язык. Русские тогда относили балкарцев к татарам, а сами они называют себя «таулу», потому что «тау» — гора — стоит в заглавии их жизни.

В начале ночи я уже был возле Машука и смотрел на землю, когда-то принявшую кровь, текущую из сердца сквозь малиновую канатовую рубашку. Вдруг прямо возле уха услышал я вкрадчивый голос:

— Михаил Юрьевич лежал не здесь. Упал он вон в том месте, а уж потом был перенесён вон туда — пожалуйте за мной, я вас сопровожу.

В темноте робко мерцал мой дневной знакомец. Он увлекал меня в сторону и второпях говорил:

— Я тоже имел несчастье несколько опоздать — впоследствии я не скрою от вас причины. Но кровь на тропинке застал я еще не остывшей.

— Да вам сколько лет? — спросил я с раздражением.

Он объяснил, что родился в девяносто шестом году, и я похвалил его моложавость. Он заметно обрадовался и выпалил, даже подпрыгнув от молодого кокетства:

— Да вы недослушали! В девяносто шестом году осьмнадцатого столетия — вот когда я родился в благородной семье и был крещён. Но имя мое в дальнейшем сам я оконфузил и осрамил и, отстранившись от своего рода, стал зваться иначе. Сказать ли вам — как? Да вы не будете ли смеяться?

— Скажите, — тупо ответил я. — Какой уж тут смех.

Он поклонился:

— Аспид Нетович Аплошкин. Вас я давно имею честь знать и даже способствовал вашей переписке с известными лицами. У меня и теперь есть письмо к вам от госпожи Весельчаковой, содержащее в себе приглашение к дружбе.

— В таком случае благоволите передать ей на словах, что я на дружбу не расточителен и ничем служить ей не могу. — Я уже освоился с неожиданным перепадом времени и был спокоен.

А почему бы нет? Мартынов стоял вот здесь, выстрелил и не промахнулся. Но, если Лермонтова нисколько и нигде нет, к чему вся эта история? Зачем сидел я по вечерам при свече, не допуская других гостей, и утром пёс дыбил шерсть и махал хвостом на узкий след гусарского сапога? Зачем чудесный тамбовский житель Николай Алексеевич Никифоров писал письмо, в котором живмя-живёхонки и ненаглядно-румяная казначейша, высватанная в селе Рассказово, и сухо-

парый казначей, и даже купец Воротилин, сдававший ему дом: «приземистый, скорее — широкий, плоский, чем толстый, с бабьим голосом»? Зачем Фёдор Дмитриевич Поленов в Поленове, художник Васильев, архитектор Кудрявцев, инженер Миндлин, разделяя мою заботу, рылись в архивах и книгах для цели, о которой пока не время говорить, и ни разу не усомнились в насущном и близком присутствии Лермонтова? И если у Гейченко в Михайловском нет Пушкина, то что же тогда есть на белом свете?

Так-то оно так, а не послушать ли нам господина Аплошкина, старейшего среди нас?

— Я рано остался сиротой, учился на казенный счёт, служил, бедствовал, а в 1840 году, по наущению темных сил, проиграл в карты не свои деньги. Меня простили, но побудили к посильной службе отечеству важного и тайного свойства. Обязанности мои были незначительные и вознаграждение скучное. В конце мая 1841 года получил я наставление следовать в город Пятигорск для бдительной и не приметной опеки над господином Лермонтовым, который временно уклонился от назначения в Тенгинский полк, якобы по нездоровью. По прибытии я тщательно проверил медицинские свидетельства и другие документы, касающиеся остановки господ Лермонтова и Столыпина для лечения. Номера этих бумаг, оказавшихся в порядке, были: 360, 361, 805, 806...

Тут я его перебил:

— Простите, а прежде — видели вы Пушкина?

Рассказчик сокрушённо потупился:

— Хотел бы солгать, да не могу — нет, не видел. Я при его жизни служил по другому ведомству. А вот супругу его, уже вдовою, видел выходящую из кареты. Она была женщина большой и трогательной красоты.

— Замечательная новость! — съязвил я. Я уже начал капризничать, и Аплошкин обиделся:

— Я вижу, вам мало того, что я более месяца был неотлучною тенью Михаила Юрьевича Лермонтова, великого поэта, украсившего собою русскую словесность!

— Ну-ну, я виноват,— торопливо поправился я,— продолжайте, сделайте милость. Только как же преуспели вы в вашей неотлучности? Я полагаю, что в дома Чиляева или Верзилиных вы не были вхожи?

Он всполошился:

— А лето? А открытые окна? А соблазны природы? А Елизаветинский источник, доступный всем жаждущим? Да и внешность моя тогда не как теперь — не навлекала на себя внимания. Впрочем, после одного случая господин Лермонтов стал меня отличать и заботливо кланяться со мной, чем не однажды удивлял своих товарищей и спутников. Началось это с того, что я проследовал за ним в ресторанацию, в ту пору пустую, поместился вдалеке и спросил себе какую-то малость. Господин Лермонтов от услуг отмахнулся и сидел, грустно и открыто глядя перед собой, опервшись подбородком о сплетённые пальцы, руки у него были белей и нежней лица. Вдруг он быстро подошел ко мне, и я встал. Тут я сразу прошу прощения у него и у вас, что передаю речь его моими неумелыми и нескладными устами, слова его только приблизительно были такие: «Милостивый государь, я очень виноват, что беспокою вас в вашем уединении, но, может быть, вы окажете мне честь и позавтракаете вместе со мной? Вы меня очень обяжете, если не обидитесь моим дерзким приглашением». Я не нашелся с ответом и в крайнем смущении последовал к его столу — он шел сзади, не давая мне отступить. В большом возбуждении стал он заказывать вина и закуски, поминутно взглядывая на меня с лаской и вопросом: как мне

угодить? — и хмурясь от смущения. Ему очень хотелось, чтобы я ел, да мне кусок не шел в горло, даже вино не лилось, хотя я уже не умел обходиться без помощи обманной влаги. Он участливо спросил: нет ли у меня какого горя? — и пожелал мне долгой жизни, прибавив: «Да я вижу: вы будете долго жить». В этом он, как видите, не ошибся. Потом, отряхнувшись от раздумья, заметил (опять я перевру его слова): «А хорошо бы долго жить. Ведь, как ни спеши, раньше времени ум не образуется. Говорят, человеческая мысль проясняется в зрелые лета,— а где их взять?» Тут его окликнули из дверей, он поднялся и проговорил быстро-быстро: «Не потому, что вы имеете нужду в деньгах, а потому, что они для меня лишние,— освободите меня!» Сделал по-своему и убежал, как мальчик. Деньги эти я вернул ему через его человека Андрея Соколова, а одну купюру оставил и ни в одной беде не рас挑剔л. (Он достал николаевскую ассигнацию, но в руки мне не дал, полюбовался и спрятал.) Видимо, я очень жалок показался ему, да я таков и был. После матери моей господин Лермонтов был единственный человек, сожалевший обо мне. А ведь я был его вредитель! Следуя указаниям, поступавшим ко мне через других лиц, я, завидев на улице Мартынова, крикнул ему французские слова о нём Лермонтова, хорошо известные еще в начале лета. А уж те мои соратники, которые много превосходили меня рангом, попеняли Мартынову на вялость его чести — вот-де прохожие и те величают вас горцем с кинжалом. Подступали они к Лисаневичу, да он не годился в убийцы. Но я уже стал задумываться, тосковать и искать стихотворений Лермонтова, хотя самый талант его был не по моей части — этим занимались люди более сведущие. И я скажу вам, что стихотворения эти ранили меня, зачем это было так важно и так просто? И как случилось, что эта сокровенная печаль не отвергала меня, не гнала в чужаки

и изгои, а была совершенно мне понятна, как если бы я сам был человек и высокий страдалец, а не мелкая подслеповатая сошка? С тех пор стал я манкировать моим долгом и в службе моей явились пробелы. Так, однажды я услышал, как Столыпин невзначай посетовал Лермонтову на Мартынова: «Опять наш Николай сморозил глупость». А тот ему: «Ты о каком Николае? Оба — наши, и оба умом не горазды, что с них взять!» Я об этой беседе в докладе не упомянул. Да ведь не один я ходил под окнами! Так что оба заинтересованных лица были извещены о сделанной им характеристике. Начиная с конца июня я твердо ждал беды. Еще раз случилось мне говорить с Михаилом Юрьевичем в галерее. Опять он был ласков и застенчив ко мне и осведомился: идут ли мне на пользу целебные воды? Вместо ответа я взмолился: «Уезжайте вы отсюда подобру-поздорову, не медлите!» Он улыбнулся и спросил: «Куда?» Вечером тринадцатого июля я наперёд знал всё, что будет. Весь следующий день метался я между Пятигорском и Железноводском, схватил на бульваре руку князя Васильчикова, он брезгливо отдернулся и не стал меня слушать. Бросился к Монге — он мне заметил, что дело это до меня не может касаться никоим образом. Пятнадцатого утром положил я быть на месте дуэли, пасть в ноги Мартынову или, что вернее, выскочить из кустов и сорвать ему выстрел — пусть лучше он меня порешит. Я восторженно приготовился к смерти и исповедался у отца Павла, служившего потом панихиду по Лермонтову с большой неохотой. Волнение изнуряло мои силы, и я прибег к услугам вина в армянской лавке. Я пил и вырастал над собой, над прежней никчемной жизнью. Только проснулся я уже от грозы и пешком бросился к Машку. По дороге встретил я князя Васильчикова — конь его поднял на меня воду и грязь. Я понял: всё кончено! Далее я вполне предался вину, на служебные при-

зывы не отвечал, пока на меня не махнули рукой и не забыли навсегда. Успел я еще сделать маленькую покражу. Михаил Юрьевич во время поединка имел при себе золотой обруч с головы молоденькой госпожи Быховец, оброненный ею в тот день и присвоенный им для шутки. После уже господин Дмитревский взял этот предмет для передачи владелице, а я его выкрад и храню. Год еще болтался я в Пятигорске, пьяниствуя и дразня бывших моих сподвижников. Когда прах господина Лермонтова повезли в Тарханы, я двинулся вслед. Там видел я, как вели под руки в церковь бабушку его Елизавету Алексеевну, и не приведи Бог кому-нибудь видеть такое лицо. Оно было хуже и непробудней мёртвых лиц, потому что те помечены отдыхом, а ее убили, но не дали забвения, и вот влекли под локти. Приметив меня, она оттолкнула поддержку и твердо спросила: «Кто ты таков?» Я молчал, но она признала сквозь мое лицо мою вину и прокляла меня на веки вечные — я склонился, как под благословение. С той поры нарёк я себя Аспидом и повадился являться Мартынову, да это был тщетный труд.

Я еще раз прервал речь симпатичного мученика:

— А зачем вы при его бракосочетании озорничали?

Он испугался меня:

— Откуда вы знаете?

Я усмехнулся. Он подумал и развеселился воспоминанием:

— Я имел цель смутить его и погубить, заживо спалить взглядом. Но добился лишь того, что он и от аналоя воротил ко мне голову и растратил на меня глупые глаза свои. В жне его было больше живости. Она меня потом выглядела и хотела привадить деньгами, но мартыновской милостыни никогда я не брал. Всё спрашивала о Лермонтове, и я уверил ее, что он был прекрасен собой — для меня он таков и был. Она мне покаялась, что ужасная слава ее суженого была ей лест-

ной. Потом она к нему остыла и говаривала: «Да точно ли он совершил столь великое злодеяние? Какой он убийца?! Разве такой, что от него мухи мрут». Ей невдомёк было, что так оно и водится на свете. Я ей про ее мужа много делал плохих намёков — надеюсь, не без удачи. А потом, что же, умирали люди на белом свете, рождались, а моей скорбной юдоли нет конца. Я уж совсем устал и соскучился, теперь вот развлекаюсь вашими трудами и путешествиями.

Я поблагодарил его. Солнце уже освещало высокий снег. Вдали с утренней силой заржал и пронёсся конь. Всадник был коренаст, а держался в седле ловко и крепко.

Вот пока и всё о кавказских приключениях и бессмертном господине Аплошкине.

VI ПРИВЕТ ФРАНЦУЗАМ!

Когда самолет уже задрожал и напрягся для подъёма, я увидел, что по полю хромает Хусейн и сильно машет рукой. Да уж нечего было делать!

В самолете со мною соседствовал француз, посетивший Пятигорск для служебной надобности, а именно для изучения знаменитой минеральной воды. Ее превосходные свойства поразили его не менее, чем неукрошённый избыток, образующий возле Эльбруса целые потоки и заводи. Заинтересовался он и Лермонтовым и всенародным паломничеством к месту его жизни и смерти. Но у него были некоторые недоумения. Он с обидой спросил меня, зачем русские иногда говорят, что в Пушкина по крайней мере целила французская рука, а с Лермонтовым было ужасней, потому что его убил соотечественник. Нужно ли тут примешивать Францию? Я его совершенно успокоил на этот счёт, сказав, что по

языку, духу и всему устройству Мартынов приходился Лермонтову таким же глухонемым чужеземцем, как Данте Пушкину, и национальность тут ничего не значит. Ростопчина писала прекраснейшему французу Дюма: «Странная вещь! Данте и Мартынов оба служили в кавалергардском полку». И это пустяки, они ближе, чем однополчане, они — одно. Он осторожно намекнул, что русские, как ему кажется, склонны несколько преувеличивать всемирное значение своих поэтов — ведь непередаваемая прелест их созвучий замкнута в их языке (Толстой и Достоевский, сказал он,— это другое дело). А вот он слышал, как один человек назвал Лермонтова: «Высочайший юноша вселенной» — не слишком ли это? И не кажется ли мне, что, например, Гюго больше повлиял на общечеловеческую культуру, хотя бы потому, что французский язык не был закрыт для всех читающих людей прошлого века? Я возразил, что трудно высчитать степень влияния, ведь Толстой и Достоевский зависели же от Пушкина и Лермонтова. Я выразил ему мое восхищение Гюго и воспитавшим его народом и передал самый сердечный привет всем французам без исключения. Потом добавил:

— Мне остается еще та утешительная радость, что ни про одного великого русского поэта никто никогда не может сказать, что он был скареден, или хитроумен, или непременно хотел в академики.

Француз с лёгкостью согласился:

— О да, русские вообще очень беспечны к материальной жизни. Надеюсь, вас не обидит мое предположение, что скромность вашей заработной платы нисколько не влияет на ваше поведение?

Он был прав.

Так что обе стороны были вполне удовлетворены приятной беседой.

VII

Письма, вернее, письмо восьмое (автор записок — художнику Васильеву)

Милый и дорогой друг!

Благодарю Вас за то, что Вы приняли в моей печали такое живое участие и подвигли к тому же других добрых и учёных людей. Во всём этом я узнаю Ваши талант, свободную изобретательность ума и великодушие.

Я всем сердцем оценил описание усадьбы в бывшей Тульской губернии, сада и дома над Окой. Для меня драгоценны сведения о медальоне с портретом Лермонтова, раздавленном каблуком, — чьим? Мстительным женским? Ревнивым мужским?

Мы к этому еще вернёмся. Пока примите в дар стихотворение, вырытое из моих бумаг.

Глубокий нежный сад, впадающий в Оку,
стекающий с горы лавиной многоцветья.
Начнёмте же игру, любезный друг, ау!
Останемся в саду минувшего столетья.

Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы,
упущенный горой, воспринятый Окою.

Попробуем следить за поведеньем двух
кисейных рукавов, за блеском медальона,
сокрывающего в себе... ау, любезный друг!
сокрывающего — и пусть, с вас и того довольно.

Заботясь лишь о том, что стол накрыт в саду,
забыть грядущий век для сущего событья.
Ау, любезный друг! Идёте ли? — Иду.—
Идите! Стол в саду накрыт для чаепитья.

А это что за гость? — Да это юный внук
Арсеньевой.— Какой? — Столыпиной.— Ну, что же,
храни его Господь. Ау, любезный друг!
Далёкий свет иль звук — чирк холодом по коже.

Ау, любезный друг! Предчувствие беды
преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста.
И, как ни отступай в столетья и сады,
душа не същет в них забвенья и блаженства.

VIII ВЕЛИКАЯ БАБУШКА

Елизавета Алексеевна Арсеньева, урождённая Столыпина, пензенская помещица, влиятельная и властная барыня, бывшая для поучения бороды крепостных, не доверявшая книжникам, говорившая про Пушкина, что он добром не кончит, несчастливая в замужестве, скончавшая молодую дочь, лелеявшая единственного внука. Жития ее было семьдесят два года (1773—1845). Вот и всё.

Да славится ее имя во веки веков!

Она одна дала Лермонтову всю любовь, которой не дал ей отец, уже не могла дать мать, еще не могли дать грядущие поколения, в которой отказали ему множество знакомых и современников. Одна — против вздорных, слепых, надменных, ленивых, алчных, желающих истребить и истребленных.

бивших, каждый день, каждое мгновение, всей жизнью, не имеющей значения и цепы без него.

И Лермонтов был любим, как только может быть любим человек.

Неисчислимая любовь к нему всех, кто был, есть и будет потом,— не больше той, одной, бабушкиной.

Мы всегда будем видеть его таким, каким она его видела: осенённым Божественным даром, хрупким, беззащитным перед обидой и гибелью и — несказанно красивым.

IX ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ, ЛЕРМОНТОВ И ПУШКИН

Никакого литературоведения — я ему не учён, это дело не мое, а только зачем Вяземский жаловался, что навряд ли Лермонтов заменит России Пушкина? Замена тут вовсе ни при чём.

Пушкин еще был жив, а уже было понятно, что у России есть еще один великий поэт.

Появился Лермонтов — его молодости оставалось четыре года для достижения зрелости и совершенства. История не спрашивает у человека: сколько ему лет? Слишком мало для величия? — ступай, оставайся в безвестных способных юношах. Еще не было решено: велик Лермонтов или не велик, но он заговорил на языке Пушкина как на своём, и это уже был язык всей русской литературы. Вдвоём их стало больше, чем только двое: Пушкин и Лермонтов — это была целая и великая поэзия народа, определившаяся раз и навсегда.

Имена их неразлучны в русской памяти, сведены в единое средоточие всего родного.

А Лермонтов не встречался с Пушкиным, не видел, не хотел видеть — так нестерпимо любил. Думаю, что не раз ему говорили: иди, там твой кумир стоит у колонны, на берегу бала, или гуляет меж статуй и дерев Царскосельского сада. Он вскакивал — и падал ничком на кровать, закрыв лицо, один со своею любовью. Принять на себя взгляд Пушкина — казалось грубой развязностью, лишним расходом его зрения, и больно было за свою недостаточность, и гордость мешала: да ведь есть же и во мне хоть что-нибудь?!

Пушкина оплакали люди и народ, но заступился за него всею жизнью один Лермонтов.

Большим, заметным, недобрый взглядом смотрел он в гостиных на Наталью Николаевну, вдову Пушкина. Она робко, с детской обидой — за что? — обращала к нему чудное, кроткое, вопросительное лицо, он отворачивался. Что это? Ревность безумия? — она, с глазами для разглядывания драгоценностей и кружев, а не для чтения, видела его каждый день, а я — никогда? Ненависть — за вину? или за неравнценность? Но она ни в чём не повинна! Пусть, Тамара тоже ни в чём не повинна, а жалко Демона, и вся ее красота и все добродетели не стянут волоса с его грешной головы. Или просто бедная месть за неказистую робость перед спокойной и знаменитой красавицей?

Он и сам понимал в этом чувстве только его силу — и смотрел.

И вот последний вечер у Карамзиных. При общем внимании и недоумении он не отходит от нее, ласково глядит — и не может наглядеться, почтительно и пылко говорит — и не может наговориться. Что это? Новая уверенность в себе после признания и успеха? Счастливый случай, открывший ему глаза на прелест женского ума и грациозного сердца? Да уж не любовь ли безумия? Да, любовь — к тому, любившему ее так сильно, давшему ей детей, наполнившему ее собой, со-

здавшему ее из воздуха, взявшему ее в бессмертие под фамилией: Пушкина-Ланская.

Она потом рассказывала об этом дочери, радуясь, как чудесное дитя, заполучившее во власть очарования всех, и великого угрюмца, воздавшего должное не красоте,— это не ново! — а собственным достоинствам личности.

А он — прощался с Пушкиным, до встречи — навсегда.

И еще — вместе с Пушкиным и Лермонтовым, другой стороной сердца,— клянусь всегда любить писателя Соллогуба, имевшего величие сказать: «Елизавета Михайловна Хитрово вдохновила мое первое стихотворение: оно, как и другие мои стихи, увы, не отличается особым талантом, но замечательно тем, что его исправлял и перевёл на французский язык Лермонтов».

Х ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ (автор записок — критику Б. С.)

Глубокоуважаемый Б. С.!

Вы оказали мне честь, упомянув меня в статье, общего значения которой я, по роду моих склонностей и занятий, не могу оценить в должной мере. Ваша память обо мне тем более для меня почтна и лестна, что я не имею привычки и страсти к публикациям, и внимание критики для меня чрезвычайная редкость.

Я совершенно согласен с Вами в отрицательной оценке слабого и вульгарного стихотворения, некстати поминающего имени Пушкина и Лермонтова. Единственное, что может оправдать меня перед Вами,— это то, что указанное стихотворение, писанное в давнишней и непривлекательно-невежественной молодости автора, сознательно не включено в

разбираемую Вами книгу. Так что огорчение Ваше — заслуга не моей, а Вашей энергии. Но всё это для меня ровно ничего не значит.

Важно лишь то, что Вы в Вашей статье прямо и точно говорите, что мне «не жалко Лермонтова».

Я полагал, что Вы сами примете меры для наказания человека, в котором Вы предполагаете злодейское сочувствие убийцам Лермонтова. Не только такое обвинение, но даже такое подозрение заслуживает немедленного и решительно-го разбирательства.

Я настоятельно прошу Вас безотлагательно сообщить мне, каким образом могу я получить от Вас удовлетворение моей чести и совести.

Любые Ваши условия, кроме перевода бумаги, буду считать для меня подходящими.

Примите уверение и прочая...

XI ЭПИЛОГ

На этом записки неизвестного обрываются.

1972

**ПОСВЯЩЕНИЕ ДАМАМ И ГОСПОДАМ,
ЗАПЕЧАТЛЁННЫМ ФОТОГРАФОМ
ЛЕТОМ 1913 ГОДА В Н-СКОЙ ГУБЕРНИИ
ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ**

Уходит жизнь — уж так заведено, —
Уходит с каждым днём неудержимо.
И прошлое ко мне непримиримо,
И то, что есть, и то, что суждено.

Петрафка. Сонет CCLXXII

...Над вымыслом слезами обольюсь...

Пушкин

Кто бы они ни были, им остаётся ровно год: для непрестанных празднеств и торжеств, фейерверков, кавалькад, балов-аллегри, музыкальных вечеров, любительских спектаклей и для любви, конечно, для любви, как всегда — особенной и роковой, как никогда — особенной и роковой в то лето крайнего и последнего благоденствия. Ясные сухие погоды перемежались краткими грозами, вольное электричество гуляло в воздухе, но они уже привыкли знать, что оно, вопреки Зевсу и Юпитеру, укрощено Эдисоном для свечения матовых лампинов, блеска витрин, услужливости лифтов и ещё каких-то моторов и механизмов. И есть громоотвод. Однако вскоре, 20

июля, в день Илии-пророка, так полыхнёт и громыхнёт, что кто-то, в шутку, перекрестится и скажет, как нянька говоривала: «Не из всякой тучи гром, а и грянул — не про нас. С нами Царица Небесная!» Радуги строились и разрушались над церковью на холме. Но оставались другие, более прочные, как барыням казалось: в хрустале бокалов и люстр, в скромных алмазных подвесках. Тихий — предпогожий закат омрачался вмешательством знаков и фигур, раздражительно менявший очертания, словно писавший чёрным по альбу отчаивался, ужасался непонятливости этих групп и сбирающихся внизу. Солнце — вдруг навсегда? — быстро уходило за дальнюю хвою. Граммофон самовольно провожал его арией Каварадосси: «И вот я умираю... Ах, никогда я так не жаждал жизни!» В деревянное основание поющего устройства был привнесён медальон с изображением Льва Толстого. Трёх лет не прошло, как умер великий мучительный человек, они уже освоились с грандиозностью его ухода прочь, без гнёта его постоянного назидания и укора втайне им полегчало, но и страшно становилось от покинутости им на беспризорную свободу. Впрочем, всё было хорошо и прекрасно — как никогда прежде и потом.

Действующие лица помещены в Н-ской губернии, но воображение льнёт к близости Петербурга, соотнося сосны, берёзы, молодой ельник, туалеты дам, осанку кавалеров и вольное усмотрение сочинителя. Это был доброкачественный, добропорядочный, двояко отчётливый круг: средневысший, статско-военный, замкнуто-широкий. Знали бы они, что семьдесят семь лет спустя кто-то войдёт в их круг через увеличительное стекло, чтобы любить их, любоваться ими, скрывать от них обречённость всего, что кажется им незыблемым, неотъемлемым, необоримым.

Нечего каркать, у них впереди — целый год, даже больше года, это чудное лето молодо-зелено, у меня же, для сосед-

ства с ними, — минувший день, иссякающая ночь, они могут медлить, я спешу. Они медлят, я спешу, но и следующая, нынешняя, ночь на исходе. Значит ли что-нибудь для них, что я прихожусь им незримым сторожем с неслышимой колотушкой, упасающим их покой? Но это у меня осень и ночь под утро, у них — летний полдень, они всё так же покойны и беспечны. Я прижилась к ним, я знаю о них больше, чем они, не проболтаться бы ни им, ни Вам. Кое-что всё же можно сказать, не нарушив щепетильных правил.

Молодая дама и офицер разделены деревом, наглядной чертой невидимых препон, но осязаемый пунктир пульсирует между ними, съединяя их в остановленном мгновении, сохранном поныне. Только они смотрят в объектив, только для них это важно. Через минуту они встанут и пойдут по аллее. Она откроет и закроет зонтик. Спросит: — Когда Вы едете? — Завтра. — Новое назначение благоприятно? — В известном Вам смысле. И в том смысле, что везде одно и то же. — Вот как? — Я хотел сказать: для меня, во мне.

Он смотрит на анютины глазки, приколотые к атласному поясу белого платья. В его сапогах отражается свет, на лице лежит тень, в значение которой она будет бессмысленно вчитываться в декабре следующего года. Привычный уже заголовок газетных сообщений, предшествующий списку убитых и раненых, покажется несообразным, непонятным:

«С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Горничная подумает, что барыня сделалась похожа на слабоумную кухаркину девочку. А она всё будет повторять про себя: — Откуда? Ах, да, с театра. Но что за театр такой? Действий, разумеется. Зачем, каких? Военных. С театра. Военных. Действий.

Зато он никогда не узнает, и дико, несусветно, безобразно было бы жить и знать, что через малое страшное время от всей

её прелести и гордыни останется обрывок тюля, осколки зеркал, букет анютиных глазок, раздавленный пьяным подкованным каблуком. Но я — автор сочинения — не хочу, не позволяю. Пусть не год, не лето, но целый тот день ещё принадлежит им, их силуэты ещё видны в бесконечной аллее, и теперь видны.

Я привыкла ко всем участникам фотографического сюжета, привязалась и к полным дамам в брюссельских кружевах, даже к той, в шляпе с высоким эспри, делающей кому-то ручкой, пока изящный ироничный офицер, всеобщий и мой любимец, поднимает и преподносит обронённый платок. Он видим нам во всю свою складную долговязость, умеющую умерять глиссаду вальса, преломляться в колене, безукоризненно облекать бока обожаемой лошади. С какой стати мне отпустить его в близкую погибель? Пусть на той же пиршественной лужайке выпьет весёлого вина, перемолвится словом с приятелем, тем, с меланхолическими глазами и усами, тайком посвящёнными Лермонтову, чем и был дразним.

Я не стану смущать милую супругу высокопоставленного лица, застенчиво позирующей в велосипедной упряжке. Она известна чистотой религиозных чувств и благотворительной деятельностью, её тяготит богатство, и напрасно, вскоре она совершенно искупит его греховность.

Тroe скептических офицеров отвлечены от вина фотографом, один, ещё не раскуривший сигару, раздражён докучливой помехой. Не говорить же им до времени, что они проиграют войну. Жизнь — что? — она заведомо посвящена России, но и Россию они проиграют. Или нет?

При снисходительности офицера в белом кителе, скрытом неодобрении нижних чинов и любопытстве местных ребятишек дама неловко целится из винтовки. Пусть всегда пребывают в той же позиции, не зная, что они — сами мишень, уже взятая на прицел тем, кто не промахнётся, хоть и стреляет хуже, чем они.

Мне жаль прощаться с ними, но я оставляю их не на растерзание грядущему, а разгару лета и беспечного пикника, вблизи породистых вин и десерта, увенчанного ананасом.

Ещё не вечер, более года остаётся им до сараевского убийства и последующих событий. Я желаю им счастливого пиршества, драгоценных великих пустяков, из коих состоит выпуклая, живая, как бы бессмертная жизнь на снимках. Пусть здравствуют и благоденствуют, пока возможно. Безмолвно добавляю: Вечная память.

1990

СОЗЕРЦАНИЕ СТЕКЛЯННОГО ШАРИКА

Ладони, прежде не имущей,
обнова тяжести мешает.
Поэт, в Германии живущий,
мне подарил стеклянный шарик.

Но не простой стеклянный шарик,
а шарик, склонный к предсказаньям.
Он дымчатость судьбы решает.
Он занят тем, чего не знаем.

Когда облёк стеклянный шарик
округлый выдох стеклодува,
над ним чело с надбровным шрамом
трудилось, мыся и колдуя.

Пульсировала лба натужность,
потворствуя растрате лёгких,
чей воздух возымел наружность
вместилища миров далёких.

Их затворил в прозрачном сердце
мой шарик, превратившись в скрягу.
Вселенная в окне — в соседстве
с вселенной, заточённой в склянку.

Задумчив шарик и уклончив.
Мне жаль, что он — неописуем.
Но так дитя берет альбомчик
и мироздание рисует...

Это — не эпиграф, это — начало стихотворения. Может быть, и впрямь, препона моим стараниям заключена в упомянутом неописуемом шарике? Вот он отчуждённо и замкнуто мерцает передо мной с неприступным выражением достоинства, оскорблённого предложением позировать и подвергать обзору и огласке свою важную тайную суть. Одушевленная стеклянная плоть твердо противится вхожести дотошного ума, хоть они весьма знакомы. Но на что годен сочиняющий ум, который знает, а упорхнувшая музыка о нем знать не хочет, звук — беспечный вождь и сочинитель смысла. Своевольный шарик — не раб мой, угодливо отнесу его в привычные ему покой письменного стола, а сама чернавкой останусь на кухне и начну о нём судачить. Полюбовалась напоследок, напитав его светом лампы, — и унесла.

Как и написано, шарик этот благосклонно подарил мне поэт, в Германии живущий. Он был немало удивлён силой моего впечатления при получении подарка. Умыслом и умением стеклодува, округлое изделие, изваянное его легкими, изнутри было населено многими стройными сферами: более крупными, меньшими и маленькими, их серебряные неземные миры ослепительно сверкали на солнце, приходясь ему младшими подобьями. В сердцевине плотно-прозрачного пространства грациозно произрастала некая кроваво-коралловая корявость, кровеносный животворный ствол — корень и опора хрупкой миниатюрной вселенной. Её ваятель с раскалёнными щеками не слыл простаком: и ум знал, и музыка ума не чуралась. И шарик мой был не простой, а волшебный, что не однажды и только что подтвердилось.

Всё это происходило в небольшом немецком городе Мюнстере, населённом пригожими людьми, буйно-здоровыми детьми и множеством мощно цветущих рододендронов. Нарядный, опрятный, неспешный, утешный городок. Если бы вздумала усталая жизнь отпроситься в отлучку недолгой передышки — лучшего места не найти ей для шезлонга. Но для этого надо было бы родиться кем-нибудь другим — лучше всего вот этим гармонично увесистым дитятей, плывущим в коляске с кружевным балдахином, свежим и опытным взглядом властелина озирающим крахмальный чепец няньки и весь услужливо преподнесенный ему, обреченный благоденствию мир. Или хорошенъкой кондитершей, чья розовая, съедобная для ненасытного сладкоежки-зрачка прелесть — родня и соперница роз, венчающих цветники тортов, сбитых сливок с клубникой и прочих лакомств её ведомства. Или, наконец, вон тем статно-дородным добропорядочным господином, он не из сластён, он даже несколько кривится при мысли о приторно удавшейся жизни, пока запотевшая кружка пива подобострастно ждёт его степенных усов.

Примерка сторонних образов и обстоятельств быстро наскучит или экспромт сюжета начнёт клянчить углов, поворотов, драматических неожиданностей, что косвенно может повредить облюбованным неповинным персонажам. А у меня всегда, где-то на окраине сердца, при виде чужого благоустройства живёт мимолетная молитвенная забота о его сохранности и нерушимости.

Шарик сразу прижился к объятию моей ладони, пришёлся ей впору, как затылок собаки, всегда норовящей подсунуть его под купол хозяйской руки. Собака здесь притом, что теплое стеклянное темя посыпало в ладонь слабые внятные пульсы, ободряющие или укоризненные, но вспомогательные.

Пойду-ка верну шарик из полюбовной ссылки, заодно проведаю загривок собаки.

Заведомо признаюсь возможным насмешникам, что часто отзывалась игривости и озорству предметов и писала об этом, как бы вступая с ними не только в игру, но и в переписку. Эти слабоумные занятия не худшие из моих прегрешений, и они несколько оберегли меня от заслуженной поченной серёзности.

По возвращении в Москву мы с шариком вскоре уехали в Малеевку, где, вырвавшись в лето, главенствовали и бушевали дети. Мой балкон смотрел на овраг и пруд, в глухую сторону, обратную их раздолью. Чудный был балкон! Он был сплошь уставлен алыми геранями, возбужденно пламенеющими при закате. Когда солнце заходило за близкие ели, я думала о Бунине. Гераневый балкон я называла Бунинским. Днём я выносилась на него клетку с любимой поющей птицей. К ней прилетал оставшийся одиноким соловей, и они пели в два голоса. Я рано вставала и плавала в пруду — вдоль отражения берёзы к берёзе. В пятницу — до понедельника — приезжал Борис, с нашей собакой. Я ждала его на перекрестке в полосатом чёрно-белом наряде, в цвете и позе верстового столба. Борис и собака уезжали ранним утром — я ощущала яркую, как бы молодую, какую-то остро-чёрёмуховую грусть. Со мной оставались леса и протяжные поля, гераневый Бунинский балкон с оврагом и прудом, книги, перо и бумага, любимая поющая птица и, конечно, стеклянное сокровище — или сокровищница, учтивая насыщенность его недр звёздами, кровянистым коренастым кораллом, тайным умом и явным талантом? Мыслящий одухотворённый шарик был неодолимо притягателен для детей, я этому не препятствовала. Шарик с некоторой гордой опаской, но всё же уступчиво давался им в руки. Дети по очереди выходили с ним в другую комнату, шептались, шушукались, спрашивали, просили, загадывали и гадали. Некоторые их желания сбывались немедленно: в правом ящике стола я припасала для них счасти и

презренные жвачки. С небольшой ревностью я просила, как о всех живых тварях: только не тискайте, пожалуйста, не причиняйте излишних ласк. Дети вели себя на диво благовоспитанно, уважительно обращаясь к взрослому шарику полными удостоверенным именем: Волшебный Шарик. Некоторые из них его рисовали — и получался краткий, абстрактно-достоверный портрет всеобъемлющего свода. Недвижно плывущие в нём сферы нездешних миров они, без фамильярности, именовали пузырьками, что смутно соответствовало неведомой научной справедливости.

По ночам шарик уединялся и собратствовал с всесущей и всезнающей бездной. Возглавляющая Орион жёлтая Бетельгейзе, по своему или моему обыкновению, насыпала призывающую тоску, похожую на вдохновение.

...Но так дитя берёт альбомчик
и мироздание рисует.

Побыть тобою, рисовальщик,
прошусь — на краткий миг всего лишь,

присвоить лика розоватость
и карандаш, если позволишь.

Сквозь упаданье прядей светлых
придать звезде фольги сверканье

и скрытных сфер стеклянный слепок
наречь по-свойски пузырьками.

А вдруг и впрямь: пузырь — зародыш
и вод, и воздуха, и суши.
В нём спят младенец и зверёныш.
Пузырчато всё то, что суще.

Спектр ёмкий — ёлочный и мыльный —
величествен, вглядеться если.
Возьми свой карандаш, мой милый.
Остерегайся Бетельгейзе.

Когда кружишь в снегах окольных,
и боязно, и выюга свищет, —
то Орион, небес охотник,
души, ему желанной ищет.

Вот проба в дальний путь отбыться.
Игрушечной вселенной омут —
не сыт. Твой взгляд — его добыча —
отъят, проглочен, замурован...

Старинно воспитанный, учёно-сугуловый мальчик стал ближайшим конфидентом шарика, но деликатно посещал его реже других паломников, робко испросив позволения. Когда они с шариком смотрели друг на друга, меж ними зыбко туманилось и клубилось родство и сходство. Глаза мальчика, отдалённые и усиленные линзами очков, тоже являли собою сложно составленные миры, сумрачные и светящиеся, с дополнительными непостояннымиискрами. Казалось, что самому мальчику была тяжела столь громоздкая сумма зрачков: понурив голову, он занавешивал их теменью ресниц — это был закат, общий закат-уход лун и солнц, зато, обратное, восходное, действие вознаграждало и поражало наблюдателя. Мальчик играл на скрипке, уходя для этого в глубины парка, впадающего в лес, и однажды — в моей комнате, что сильнейше повлияло на поющую птицу и прилетавшего к ней соловья. Небывалое трио звучало душераздирающе, и одна чувствительная слушательница разрыдалась под моим балконом. Мальчик жил во флигеле под легкомысленным

присмотром моложавой, шаловливой, даже озорной прабабушки. Можно было подумать, что добрые феи, высоко превосходящие чином противоположные им устройства, вычли из её возраста годы тюрем и лагерей, подумали — и ещё вычли, уже в счёт других приговоров, тоже им известных. Сама же она объясняла, что фабула её жизни была столь кругосветна, что безошибочный циркуль вернул её точно в то место времени, откуда её взяли в путешествие. «Не в главное путешествие, — утешала она меня, — я говорю о детстве. Я рано себя заметила. Я совсем была мала, но не «как сейчас вижу» — в сей час живу в счастье дня, которого мне на всю жизнь хватило. В то лето разросся, разбушевался жасмин, заполонил беседки, затмил окна, не пускал гостей в аллеи. Няня держит меня на руках и бранит жасмин: разбойник жасмин, неприятель жасмин, войском на нас нашёл, ужо тебе, жасмин. А прориаясь сквозь жасмин, к нам бежит девочка-мама и кричит: папа с фронта приехал в отпуск! он крест Святого Георгия получил! За ней идёт прекрасно красивый отец, с солнцем в погонах, и целует усами мои башмачки. А вечером — съезд, пиршество, фейерверк и среди белых цветов жасмина — обрывки белых кружев. Ну, а дальше что было — известно. Только — если человек запасся таким днём, он и в смерти выживет и не допустит в сердце зла».

Сквозь шарик или в нём я живо видела тот счастливый день, может быть, его избыточного запаса и мне достанет — хотя бы для недопускания в сердце зла. Чудная картина июньского полдня внушала зябкую тревогу. Дама в белом платье с розой у атласного пояса, офицер в парадном мундире, добрый снеговик няньки, светлое дитя в батистовых оборках, белый жасмин, белые кружева. Как всё бело, слишком бело, и какая-то непререкаемая смертельная белизна осеняет беззаботную группу, приближается к ней, готовится

к прыжку из жасминовых зарослей. Ей противостоит неопределённый крылатый силуэт, бесплотный неуязвимый абрис — видимо, так окуляр шарика выглядел и выявил из незримости фигуру Любви. Дальше смотреть не хотелось, чтобы не допустить в сердце зла.

Очаровавшая меня прабабушка — может быть, в ней и упасла свою сохранность фигура Любви? — тоже дружила с шариком, он нежился и лучезарил в ее тонких руках. Однажды он огорчил её, нарушив свойственную ему скрытность. Старая молодая дама печально молвила: «Да, это правда, и быть посему — быть худу. Влюблён мой правнук — вы знаете, я его прадедушкой дразню, — тяжело, скорбно влюблён, старым роковым способом».

Снежной королевной того жаркого лета была высокая взрослая девочка — всегда на роликах и с ракеткой. Длинные белые волосы — в причёске дисциплины, не позволявшей им развеяться по ветру или клониться в сторону обеденного стола. Хладные многознающие глаза с прямым взглядом, не снисходящим к собеседнику. Когда она неспешно проносилась по выбоинам асфальта, страшно было за высокие амфоры её ног, наполненные золотом виноградного сока. Кто-то предупредил её об опасном месте, удобном для спотыкания или упадения. Она сурово успокоила доброжелателя: «Со мной этого не может быть». Заискивающая свита подружек звала её Лизой, она не возражала: «Хоть горшком... — Моё имя Элзе, но вам это не по силам». Говорили, что отец её — норвежец, русская мать преуспевает в собственном компьютерном деле. Кто-то осмелился спросить её об отце: правда ли, что он — норвежец, и не шкипер ли он? Она ответила: «Правда то, что меня в вашей русской капусте нашли». В честь этого обстоятельства она появилась на детском празднике в прозрачном туалете бабочки-капустницы. Приставленная к ней гувернантка или приживалка укоризненно

зашептала ей в ухо, и все услышали строгий ответ: «А вы видели когда-нибудь, чтобы бабочки носили зипун?» И тут же обратилась к прабабушке мальчика, искоса указав на него подбородком: «Меня — в капусте, а вот этого где удалось отыскать?» Дама кротко и доброжелательно ответила: «Его нашли в жасмине, это очень редкий случай». Ей нравилась девочка, она подозревала в ней трудное горячее сердце, крепко-накрепко запертое, как ларец с алмазом, и не ключом, а зашифрованное набором чисел и букв.

В теннис девочка играла одна, гнущаясь неравными партнёрами, одному смелому претенденту отказалась так: «Нет уж, вы играйте в свой шарик, а я — в свой».

Родителей капустной девочки и жасминного мальчика никто из живущих в доме никогда не видел, но в алмазном норвежстве девочки я не сомневалась. Для меня она была родом из Гамсона, из его чар, из шхер, фиордов, скал и лесов. Безудержная гордыня фрёкен Элзе не могла вволю глумиться над избранником её пристальных насмешек: он избегал её, вернее, сторонился с видимым равнодушием, но она его настигала: «Вашей сугубостью вы доказываете ваше усердие в умственных занятиях?» — «О нет, примите этот изъян за постоянный поклон вам», — кланялся мальчик. Или: «Я видела вас в беседке с тетрадкой. Вы пишете стихи? О чём вы пишете?» — «Да, иногда, для собственного развлечения, сейчас — о звезде Бетельгейзе». Надменная фрёкен Элзе тоже умела ошибаться: «Это — посвящение? Не стану благодарить, потому что рифма — примитивна». — «Как вы догадались? Рифма действительно крайне неудачна, искусственна, вот послушайте:

Плутает слух во благе вести:
донёсся благовест из Рузы.
Но неусыпность Бетельгейзе
следит за совершенством грусти.

Доверься благовесту, странник,
не внемли зову Бетельгейзе:
не бойся, что тебя не станет,
в пыланье хладном обогрейся.
Какой затеял балетмейстер

над скудостью микрорайона
гастроль Тальони-Бетельгейзе
с кордебалетом Ориона?
Безынтересны, бестелесны,
сумеем ли без укоризны
последовать за Бетельгейзе
в посмертья нашего кулисы?»

— Какой ужасный ужас! — искренне возмутилась незарифмованная девочка. — Дайте мне эту гадость, я порву, чтобы и следа не осталось. — Пожалуйста, — с готовностью согласился сочинитель. — Только здесь ничего не написано, это само из воздуха взялось.

На листке бумаги не было никаких букв, но присутствовало изображение шарика с его разновеликими зрачками и отражёнными в нём разнообразными зрачками мальчика. — Так я и знала! — ещё пуще прогневалась девочка. — Вы не из воздуха, а из вашего шарика все эти вздоры берёте. Пусть он волшебный, но вашему одиночеству он вместо собаки. Тогда назвали бы: Полкан. Нет — Орион. «Орион, к ноге!» — в вашем захудалом микрорайоне это бы пышно звучало. — Собаку я люблю, — последовал задумчивый вздох. — Собаки это не касается, а ваше бугафорское мироздание — разрываю и распускаю.

Нарисованные миры вразь покинули нарисованное здание стеклянной темницы-светлицы и на крыльях бумажных клочков разлетелись по сквозняку вселенной, отчасти обита-

ющей и в наших скромных угодьях. Бутафорский хаос распада всё же производил небольшое зловещее впечатление.

— Дайте мне ваши очки, — приказала разрушительница миров и сердец.

— Но зачем? Вы в них ничего не увидите, — сказал мальчик, покорно обнажая затруднённый восход близоруких светил, умеющих смотреть в свой исток, в изначальную глубь обширного исподлобного пространства. Девочка надела очки, странно украшившие её русалочье лицо, — словно она из озера глядела.

— Для этого и прошу. Вот теперь хорошо: какое удовольствие вас не видеть. Надо бы заказать такие, если у оптики найдется столько диоптрий — не все же мне отдать. Впрочем, я и так вас больше не увижу: завтра мы с тётушкой уезжаем. Так что — постарайтесь не вспоминать лихом.

Она протянула мальчику руку, и он взросло склонился к ней похолодевшими губами:

— Прощайте.

Засим ролики фрекен Бетельгейзе удалились.

Вскоре собрались к отъезду прабабушка и правнук и зашли попрощаться со мной, шариком и поющей птицей — навещавший её соловей отсутствовал. В тёмном дорожном пластице разминувшаяся с возрастом прабабушки смотрелась совсем барышней, но, при свете гераневого балкона, видно было, какую горечь глаз нажила, намыкала она данной ей долгой жизнью, возбранив себе утехи слёз, жалоб и притязаний. Она застенчиво протянула мне засущенную веточку жасмина: «Преподнесите и этот цветок стихотворению Пушкина «Цветок», я это ваше обыкновение невольно приметила». У «Цветка», в моих и во многих книгах, много уже было преподнесённых мной цветков, и я часто наугад вкладывала лепестки меж других страниц, перечитывая их, с волнением принимая их понимающую усмешливую взаимность. Жасмин я бережно положила по назначению — том привычно открывался в должном цветочном месте.

Опасаясь обременить её тяжестью горшка, я заведомо приготовила для неё сильный отросток герани, уже прицепивший корни к новому питательному обиталищу. Она радостно смеялась, умерив горемычность глаз: «Представьте: как раз горшок у меня есть, а теперь и растение есть, такое совпадение — роскошь». Мальчик и шарик сдержанно прощально переглянулись. (Мне не однажды доводилось раздавать заповедные предметы, как бы следуя их наущению и устремлению, но искушение дарить на шарик никак не распространялось, даже приблизительная мысль об этом суеверно-опасна.)

Увеличив свободу и прилежность моих и шарика занятий, школьные каникулы кончились. С этой фразы начинаются каникулы воображаемого читателя. Ведь он мог боязливо предположить, что занесшийся автор пустился писать роман, и предлинный: о прабабушке и о мальчике, о напряжённой дрожи многоточия меж ними, о пунктире острого электричества, не известного Эдисону, неодолимо съединяющему и уязвляющему сердца. Но нет, эта заманчивая громоздкость не обрушится ни на чью голову, а останется в моей голове — подобно отростку герани, пустившему корни в стакане воды.

Пора приступить к началу и признаться, что произошло на самом деле. Некоторое время назад я сидела за столом, имея невинное намерение описать мой шарик, чья объявленная волшебность не содействовала мне, а откровенно противоборствовала. Врасплох зазвонил телефон, и определённо милый (это важно) женский голос попросил меня о встрече, об ответе на несколько вопросов обо мне, о моей жизни. Неподалёку лежали два недавних интервью, вполне достоверных и доброкачественных, но я ещё не очнулась от необоримой скуки их прочтения. «Ни за что не соглашусь», — бесполезно твёрдо подумала я. Но голос был такой милый, испуганный, уж не подозревал ли он меня в злодейской надменности, в чопорной тупости? А я — вот она: усталый чело-

век, сидящий на кухне, печально озирающий стеклянный шарик. Таким образом, один ответ уже был, может быть, и другие откуда-нибудь возьмутся, хотя бы из этой усталости, не пуста же она внутри. И я сказала сотруднице журнала:

— Приходите.

Она и сама была милая, робкая, доверчивая, со свежими снежинками, ещё не растворившимися на беззащитной шапочке. Этой небойкой пригожести, несмелой доброжелательности, этим снежинкам — не выходило отказать. Её кроткое вопросительное вмешательство в моё сидение на кухне походило на ласковое сочувствие, а не на докучливое любопытство. Мы невнятно сговорились, что я отвечу на вопросы, не изъявленные, не заданные впрямую, отсутствующие. С этим обещанием, как с удачей, она отправилась в свой путь по зимнему дню, может быть дальний и нелёгкий.

Опять мы остались один на один с шариком и как бы в сходных, если не равных положениях. Сторонние обстоятельства понуждали нас разомкнуть дрёму охранительных ресниц, обнажить устье зрачков, берущих исток во взгорбьях темени, — приглашали задумчивый моллюск на бал погостить на блюде устриц. Втайне я полагалась на участливую подсказку шарика. То, что он имеет врождённые и вменённые ему предсказательные способности, как оказалось, известно не только мне.

Есть брат у шарика. Он — царствен.
Сосуд пророческого шара
в театре, в городке швейцарском
я видела в руке Бежара.

В дырявом одеянье длинном,
дитя умершее качая,
он Лиrom был, и слёзы лил он,
и не было слезам скончанья.

только блики, отсветы, сумерки зашифрованных намёков составляли выражение упования или скорби. Его сдержанные, расчётливо малые, цепкие движения словно хищно гнались за совершенством краха, не экономя страсть всего существа, а расточая её на благородную потаенность трагедии. В правой руке он держал мутно мерцающий стеклянный объём темнот и вспышек, явно предвидящий и направляющий мрачный ход событий. Это был величественный, больший и старший, пусть косвенный, но несомненный сородич моего шарика. Это меня так поразило и отдалило от прочей несведущей публики, как если бы я оказалась забытой в глухи дальней свойственницей Короля Лира и свежими силами моего молодого шарика всё ещё можно было поправить. Моя ревность была уверена (может быть, справедливо), что этот окружный роковой персонаж и труппа, и зрители, если замечают, принимают за декоративную пустышку, за царственную прихоть Бежара. Я еле дожила до разгадки. Один просвещённый господин объяснил мне, что подобные изделия издревле водились в разных странах и название их, в переводе с французского, означает именно то, что я сама придумала: магический, предсказующий, гадательный. Так что не зря я в мой шарик «как в воду глядела» и теперь гляжу.

Из всего этого следует, что поверхность моей жизни всегда обитала на виду у множества людей, без утайки подлежа их вниманию и обзору. Но не в этом же дело. Главная, основная моя жизнь происходила и поныне действует внутри меня и подлежит только художественному разглашению. Малую часть этой жизни я с доверием и любовью довожу до сведения читателей — как посвящение и признание, как скромное подношение, что равняется итогу и смыслу всякого творческого существования.

Конечно, я не гадаю по моему шарику, не жду от него предсказаний. Просто он — близкий сосед моего воображения, потакающий ему, побуждающий его бодрствовать.

Все судьбы и события, существа и вещества достойны пристального интереса и отображения. И, разумеется, все добрые люди равно достойны заботливого привета и пожелания радости — вот, примите их, пожалуйста.

О чём стекла родитель думал?
Предзнал ли схимник и алхимик,
что мир, взращённый стеклодувом,
ладонь, как целый мир, обнимет?

Ребёнок обнимает шарик:
миров стеклянность и стократность —
и думает, что защищает
их беззащитную сохранность.

Стекло — молчун, вещун, астролог
Повелевает быть легенде.
Но почему о Лире скорбном?
Но почему о Бетельгейзе?

Не сизойдёт учёный шарик
до простоумного ответа.
Есть выбор: он в себя вмещает
любовь, печаль, герани лета.

Он понукает к измышлениям
тот лоб, что лбу его собратен.
Лесов иль кухни ты отшельник,
сиятелен твой сострадатель.

Февраль 1997

Комментарии

- с. 9 *Шурале* (тат.) —лещий.
- с. 10 *Антокольский Павел Григорьевич* (1896—1978) — поэт, переводчик, эссеист.
- с. 10 *Гасконский темперамент*. Гасконь — историческая область на юго-западе Франции.
- с. 10 *Дэви* (дэв) — исполинское злое чудовище в грузинских легендах и сказках.
- с. 10 *Симон* — Чиковани Симон Иванович (1902/1903—1966), грузинский поэт.
- с. 11 *Казанова Джованни Джакомо* (1725—1798) — итальянский писатель и мемуарист, проживший бурную авантюрную жизнь.
- с. 12 *Кахетинское яство*. Кахети (Кахетия) — историческая область в Восточной Грузии, в верховьях рек Иори и Алазани.
- с. 15 *Махинджаури* — черноморский курорт в Аджарии.
- с. 27 *Микадо* (япон.) — титул императора в Японии.
- с. 53 Стихотворение впервые опубликовано под названием «Воспоминание о Сибири».
- с. 57 *Хазанов Геннадий Викторович* (р. 1945) — артист эстрады.
- с. 59 *Кинто* (груз.) — мелкие торговцы вразнос в старом Тбилиси, отличавшиеся плутовским нравом.

- с. 59 *Духан* — небольшой ресторан, трактир.
- с. 67 *Свети-Цховели* — построенный в начале XI в. кафедральный собор в Мцхета.
- с. 67 *Мцхета* — город в Восточной Грузии неподалеку от Тбилиси, у слияния рек Арагви и Куры. Древняя столица Картлийского царства (до конца V в.), затем церковно-религиозный центр.
- с. 68 *Хаш (хаши)* — одно из древнейших кавказских блюд. Хаш называют «похмельным супом».
- с. 70 *Шпаликов Геннадий* Федорович (1937—1974) —кинодраматург, режиссер, поэт.
- с. 73 *Катерина* — персонаж повести Н.В. Гоголя «Страшная месть» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1832 г.).
- с. 78 *Ерофеев Венедикт* Васильевич (1938—1990) — прозаик, драматург.
- с. 110 *Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н.э., сын Давида. Согласно преданию, славился необычайной мудростью.
- с. 137 *Тамара (Тамар)* (около середины 60-х гг. XII в. — 1207) — грузинская царица. Во время ее правления Грузия достигла наибольшей военно-политической мощи и культурного расцвета.
- с. 137 *Метехи* — замок-тюрьма на высоком отвесном берегу реки Куры в Тбилиси, ныне снесен; находился рядом с древним храмом Метехи (XIII в.).
- с. 138 *Кура* — река в Закавказье, впадающая в Каспийское море; на ней стоит Тбилиси.
- с. 138 *Арагва.* Арагви — река в Грузии, левый приток Куры.
- с. 138 *Алазанская долина* — равнина вдоль южного подножия Большого Кавказа. Орошается реками Алазани и Агрчай.

- с. 139 *Переделкинская осень*. Переделкино — писательский дачный поселок под Москвой.
- с. 139 *Лета* — в греческой мифологии река забвения в подземном царстве.
- с. 140 *Иа* (груз.) — фиалка.
- с. 141 *Сакартвело* (груз.) — Грузия.
- с. 175 *Марина* — Марина Ивановна Цветаева (1892—1941), поэт, прозаик, мемуарист.
- с. 176 *Гедике* Александр Федорович (1877—1957) — композитор, пианист, органист.
- с. 183 *Мцхетский храм* — Свети-Цховели (см. с. 67).
- с. 193 *Окуджава Булат* Шалвович (р. 1924) — поэт, прозаик.
- с. 195 *Ямб, хорей, амфибрахий, анапест, дактиль* — стихотворные метры.
- с. 197 *Смирнов Андрей* Сергеевич (р. 1941) — кинорежиссер, драматург.
- с. 207 Стихотворение впервые опубликовано под названием «Смерть Ахматовой». Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889 — 1966) — поэт, переводчик.
- с. 207 *Елабуга* — город в Татарии на реке Каме. В августе 1941 г. сюда была эвакуирована М.И. Цветаева с сыном Георгием. 31 августа 1941 г. М.И. Цветаева покончила с собой.
- с. 207 *Царскосельские сады*. Царское Село (с 1937 г. город Пушкин) — летняя загородная резиденция русских императоров, дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX вв. Тесно связано с русской поэзией, от А.С. Пушкина до поэтов Серебряного века.
- с. 213 *Корсакова Александра Николаевна* (1904—1990) — живописец, график, близкий друг В.Е. Татлина.
- с. 215 *Муся, Ася* — сестры Цветаевы: Марина Ивановна (см. с. 175) и Анастасия Ивановна (1894—1995) — прозаик, поэт, мемуарист.

с. 215 *Таруса* — город в Калужской области на берегу реки Оки.

с. 216 *Кавалерист-девица* — Надежда Андреевна Дурова (1783—1866), первая в России женщина-офицер, писательница.

с. 219 *Елабуга* — здесь имеется в виду не конкретный город (см. с. 207), а некое чудовище.

с. 221 Стихотворение впервые опубликовано под названием «История одного обеда».

с. 226 *Мальмгрен Финн* (1895—1928) — шведский геофизик, участник океанографических и арктических экспедиций. Погиб во время экспедиции на дирижабле «Италия» к Северному полюсу.

с. 230 *Варфоломеевская ночь* — 24 августа 1572 г. в Париже в ночь под праздник Св. Варфоломея католики произвели массовую резню гугенотов. Варфоломеевская ночь приобрела нарицательное значение резни вообще.

с. 230 *Гинзбург Евгения Семеновна* (1906—1977) — писательница, автор книги воспоминаний «Кругой маршрут». Мать писателя В. Аксёнова.

с. 233 *Хельсингфорс* — шведское название города Хельсинки.

с. 235 *Васильев Юрий Васильевич* (1925—1990) — живописец, скульптор, театральный художник.

с. 251 *Эдем* (библ.) — страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения; синоним рая.

с. 257 Эпиграф — строка из стихотворения А. Ахматовой «Приморский сонет».

с. 262 *Россельс Владимир Михайлович* (р. 1914) — переводчик, критик, литературовед. *Россельс Елена Юрьевна* (1916—1995) — переводчик. Жена В.М. Россельса.

с. 265 *Мессерер Борис Асафович* (р. 1933) — театральный художник, живописец, график. Муж Б. Ахмадулиной.

- с. 268 *Сван* — герой цикла романов французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
- с. 278 *Королев Юрий Дмитриевич* (1925—1994) — фотохудожник.
- с. 279 *Маросейка, Варварка, Ордынка* — улицы в историческом центре Москвы.
- с. 286 *Мандельштам Надежда Яковлевна* (1899—1980) — мемуарист. Жена поэта О.Э. Мандельштама.
- с. 288 *Арсеньева* (урожд. Столыпина) Елизавета Алексеевна (1773—1845) — бабушка М.Ю. Лермонтова со стороны матери, воспитавшая его и ставшая на всю жизнь самым близким ему человеком.
- с. 290 *Васильчиков Александр Илларионович* (1818—1881) и *Глебов Михаил Павлович* (1819—1847) — секунданты на дуэли М.Ю. Лермонтова с Н.С. Мартыновым.
- с. 290 *Монго* — прозвище Алексея Аркадьевича Столыпина (1816—1858), двоюродного дяди, однополчанина и друга М.Ю. Лермонтова, героя его шуточной поэмы «Монго» (1836 г.).
- с. 291 *Шан-Гирей Аким Павлович* (1818—1883) — троюродный брат и близкий друг М.Ю. Лермонтова.
- с. 310 *Сороть* — река в Михайловском, псковском имении Пушкиных.
- с. 310 *Марина и Анна* — М. Цветаева (см. с. 175) и А. Ахматова (см. с. 207).
- с. 313 *Оспедалетти* — средиземноморский курорт в Италии, недалеко от Сан-Ремо.
- с. 317 *Собаньская* (урожд. графиня Ржевуская) Каалина-Розалия-Текла Адамовна (1794?—1885) — дочь киевского губернского предводителя дворянства графа А.С. Ржевуского. Будучи замужем за И. Собаньским, находилась в почти официальной связи с графом Иваном Осиповичем Виттом

(1781–1840), генерал-лейтенантом, начальником военных поселений в Новороссии. Собаньская познакомилась с А.С. Пушкиным в 1821 г. в Киеве, встречались они и позднее — в Одессе (июль 1823 — июль 1824) и в Петербурге.

с. 320 *Лаура, Беатриче, Керн* — адресаты любовной лирики Ф. Петрарки, Данте Алигьери и А.С. Пушкина соответственно.

с. 321 *Болдинская аллея*. Болдино — нижегородское имение Пушкиных, где поэт провел знаменитую Болдинскую осень 1830 г.

с. 322 *Пущин Иван Иванович* (1798–1859) — лицейский товарищ А.С. Пушкина, один из самых близких его друзей.

с. 332 *Великий арап* — Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович (1688–1781), сын эфиопского князя, камердинер Петра I, генерал-аншеф, прадед А.С. Пушкина.

с. 336 Рассказ «На сибирских дорогах» впервые опубликован в журнале «Юность» (1963, № 12).

с. 370 *Тагарская культура* (археол.) — остатки поселений, рудников, курганы, относящиеся к бронзовому веку (VII–VIII вв. до н.э.) в бассейне верхнего и среднего Енисея.

с. 373 Рассказ «Бабушка» впервые опубликован в журнале «Октябрь» (1988, № 3).

с. 388 Рассказ «Много собак и Собака» впервые опубликован в альманахе «МетроПоль» (Москва, 1979).

с. 388 *Аксёнов Василий Павлович* (р. 1932) — писатель.

с. 388 *Диоскурийское побережье*. Диоскурия — античный город в Древней Колхиде на Черноморском побережье, в районе нынешнего Сухуми, затопленный впоследствии морем.

с. 391 *Веймар* — город в Германии, во 2-й половине XVIII — начале XIX в. крупнейший центр германского Проповедования, здесь жили И.В. Гете и Ф. Шиллер.

с. 391 *Pferdchen* (нем.) — лошадка, конек.

с. 393 Жанна д'Арк, *Орлеанская дева* (ок. 1412— 1431) — национальная героиня Франции, возглавившая борьбу французского народа против английских захватчиков.

с. 393 *Фейхоя* — субтропический цитрусовый плод.

с. 408 *Парфенон* — храм Афины Парфенос на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой высокой классики.

с. 408 *Флёрдоранж* — белые цветки померанцевого дерева, в ряде стран — принадлежность свадебного убора невесты.

с. 408 *Ницца* — курорт и центр туризма во Франции на берегу Средиземного моря.

с. 409 *Контора Кука* (перенос.) —экскурсионно-туристическое агентство, бюро путешествий. По имени Томаса Кука (1808—1892), основателя крупнейшего агентства всемирных путешествий.

с. 410 Нике (Ника) — в греческой мифологии персонификация победы, часто эпитет богини Афины. *Самофракийская Ника* — самое известное скульптурное изображение Ники, выполненное около 190 г. до н.э. (хранится в парижском Лувре).

с. 410 *Акрополь* — возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, крепость. Наиболее известен Афинский Акрополь.

с. 411 *Лисипп* (2-я половина IV в. до н.э.) — древнегреческий скульптор.

с. 411 *Панафинеи* — в древней Аттике празднества в честь богини Афины.

с. 411 *Пропилеи* в Афинах — парадный вход на Акрополь. Пропилеи — архитектурное обрамление парадного прохода или проезда симметричными портиками и колоннадами.

с. 411 *Эрехтейон* — храм Афины и Посейдона-Эрехтея на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой архитектуры.

с. 416 *Рецина* — греческое виноградное вино, ароматизированное смолой.

с. 417 *Свистуха* — деревня на реке Яхрома, бывшее имение художника-передвижника С.В. Иванова.

с. 417 *Яхрома* — река в Московской области, правый приток реки Сестры; частично включена в систему канала имени Москвы (до 1947 г. канал Москва — Волга).

с. 419 *Сен-Тропез* — средиземноморский курорт во Франции.

с. 422 Впервые опубликовано в журнале «Смена» (1973, № 8, 9).

с. 424 «Обожаемый батюшка» — Соломон Михайлович Мартынов (1772—1839).

с. 425 *Диана* — в римской мифологии богиня Луны, охоты, покровительница рожениц.

с. 425 «*Брат Михаил*» — Михаил Соломонович Мартынов (1814—1860), однокурсник М.Ю. Лермонтова по Школе юнкеров.

с. 428 *Яр* — ресторан в Москве, славившийся выступлениями цыган.

с. 429 «*Нумидийская конница*» (Нумидийский эскадрон) — игра, придуманная М.Ю. Лермонтовым в Школе юнкеров и описанная в воспоминаниях Н.С. Мартынова и В.В. Боборыкина.

с. 429 *Есаков* Александр Дмитриевич — прапорщик 20-й артиллерийской бригады, участвовавший одновременно с М.Ю. Лермонтовым в экспедиции в Малую Чечню (октябрь — ноябрь 1840 г.).

с. 430 *Мартынов* Николай Соломонович (1815—1875) — соученик М.Ю. Лермонтова по Школе юнкеров, участвовав-

ший одновременно с ним в экспедициях в Чечню, убийца поэта на дуэли.

с. 430 *Найтаки* Алексей Иванович — арендатор гостиниц (рестораний) в Пятигорске, Кисловодске и Ставрополе.

с. 431 *Бакунина Татьяна Александровна* (1815—1871) изложила в письме к брату Н.А. Бакунину обстоятельства последней дуэли М.Ю. Лермонтова (со слов В.К. Ржевского).

с. 432 *Белинский Виссарион Григорьевич* (1811—1848) — литературный критик.

с. 432 *Ордонансгауз* (нем.) — канцелярия коменданта.

с. 433 *«Знаменитый роман Лермонтова»* — «Герой нашего времени» (1840).

с. 433 *Грушницкий, княжна Мери* — персонажи романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

с. 433 *«сестра Наталья Соломоновна»* — Н.С. Мартынова (в замужестве де ла Турдонне) (1819—?).

с. 434 *«Августейший тёзка»* — российский император Николай I (1796—1855).

с. 435 *Печорин* — главный персонаж романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

с. 435 *Беклемишев Петр Никифорович* (1770—1852) — тайный советник, шталмейстер двора.

с. 435 *Князь Щербатов Дмитрий Алексеевич* (1805 — после 1853) — ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка.

с. 436 *Надя* (Надежда Петровна) *Верзилина* (в замужестве Шан-Гирей) (1826—1863) — дочь генерала П.С. Верзилина.

с. 436 *Эмилия* — Эмилия Александровна Шан-Гирей (урожд. Клингенберг) (1815—1891), мемуарист. Сводная сестра Н.П. Верзилиной.

с. 436 *Матушка* — Елизавета Михайловна Мартынова (1783—1851).

с. 438 *Лисаневич* Семен Дмитриевич (1822–1877) — прапорщик Эриванского карабинерского полка, знакомый М.Ю. Лермонтова, которого склоняли к дуэли с поэтом.

с. 440 *Шлиппенбах* Константин Антонович (1795–1859) — генерал-майор. С 1831 г. начальник Школы юнкеров.

с. 440 *Сальери* — имеется в виду персонаж маленькой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

с. 441 *Арбенин* — главный персонаж драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (1835–1836).

с. 441 *Демон* — персонаж одноименной восточной повести М.Ю. Лермонтова (1829–1839).

с. 441 *Дантес* Жорж Шарль (1812–1895) — поручик Кавалергардского полка, убийца А.С. Пушкина на дуэли.

с. 443 *Князь Васильчиков Александр Илларионович* (1818–1881) — секундант на последней дуэли М.Ю. Лермонтова, мемуарист.

с. 443 *Мартынов Петр Кузьмич* (1827–1899) — писатель.

с. 444 *Князь Трубецкой* Сергей Васильевич (1815–1859) — офицер лейб-гвардии Кавалергардского полка, негласный секундант на последней дуэли М.Ю. Лермонтова.

с. 446 *Быховец* (в замужестве Ивановская) Екатерина Григорьевна (1820–1880) — дальняя родственница М.Ю. Лермонтова, описавшая в письме последние дни поэта.

с. 447 «реформа 1861 года» — 19 февраля 1861 г. Александр II подписал манифест и положения об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

с. 448 *Висковатов* Павел Александрович (1842–1905) — историк литературы, биограф М.Ю. Лермонтова.

с. 450 *Машук* — гора, у подножия которой расположен Пятигорск.

- с. 451 *Верзилины* — семейство генерал-майора Петра Семеновича Верзилина (1793—1849). В их доме в Пятигорске М.Ю. Лермонтов бывал летом 1841 г. Там произошла его ссора с Мартыновым, приведшая к дуэли.
- с. 454 *Тамара* — персонаж восточной повести М.Ю. Лермонтова «Демон» (1829—1839).
- с. 454 «Печальный Демон, дух изгнанья...» — начальная строка восточной повести М.Ю. Лермонтова «Демон».
- с. 456 *Бэла* — персонаж романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
- с. 456 «*Канаусовая рубашка*». Канаус — плотная шелковая ткань полотняного плетения.
- с. 458 *Тенгинский пехотный полк*, в который М.Ю. Лермонтов был переведен после дуэли с Э. Барантом в феврале 1840 г., действовал на наиболее опасных участках боевых операций с чеченцами.
- с. 459 Чилаев (*Чиляев*) Василий Иванович (1798—1873) — плац-майор, служивший в Пятигорской военной комендатуре. В его доме М.Ю. Лермонтов провел последние 2 месяца своей жизни.
- с. 460 *Соколов Андрей Иванович* (1795—1875) — дядька и камердинер М.Ю. Лермонтова, на попечении которого он находился с двухлетнего возраста.
- с. 462 *Дмитревский* Михаил Васильевич — тифлисский чиновник, близкий знакомый М.Ю. Лермонтова в последние месяцы его жизни.
- с. 462 *Тарханы* — пензенское имение Арсеньевых, где прошли детские годы М.Ю. Лермонтова.
- с. 462 «*Бабушка его Елизавета Алексеевна*» — Е.А. Арсеньева (урожд. Столыпина) (1773—1845) — бабушка М.Ю. Лермонтова со стороны матери, воспитавшая его и ставшая на всю жизнь самым близким ему человеком.

- с. 462 *Аналой* (церк.) — высокий столик с покатым верхом для икон и книг, читаемых при церковных службах.
- с. 464 *Графиня Ростопчина* (урожд. Сушкова) Евдокия Петровна (1811/1812—1858) — писательница.
- с. 464 *Дюжса* Александр (1802—1870) — французский писатель.
- с. 464 *Лого* Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель-романтик.
- с. 467 *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт, критик. В статье «Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина» (1847) писал о Лермонтове: «Преждевременная смерть его оставила неразрешенным вопрос: заместил ли бы он Пушкина или нет?»
- с. 468 *Наталья Николаевна Пушкина* (урожд. Гончарова, во втором браке Ланская) (1812 —1863) — жена А.С. Пушкина.
- с. 469 Граф *Соллогуб* Владимир Александрович (1813—1882) — писатель. В тексте приведена цитата из его «Воспоминаний» (1865).
- с. 469 *Хитрово Елизавета Михайловна* (1783—1839) — хозяйка литературного салона в Петербурге.
- с. 471 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 22 января 1992 г. Эпиграфы: начальная строфа сонета итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374) в переводе Е. Солововича и строка из стихотворения А.С. Пушкина «Элегия» (1830).
- с. 471 *Эдисон Томас Алва* (1847—1931) — американский изобретатель и предприниматель.
- с. 472 *Каварадосси* — персонаж оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини «Тоска» (1899).
- с. 474 *Эспри* (фр.) — украшение в виде пера или пучка перьев, расходящихся в разные стороны, которое прика-

львается к женской прическе или женскому головному убору.

с. 474 *Глиссад* (фр.) — скользящее па в танцах.

с. 475 *Сараевское убийство* — убийство наследника австро-венгерского престола Франца-Фердинанда и его жены 28 июня 1914 г. в Сараево явилось поводом для начала Первой мировой войны.

Составил О. Грушников

Содержание

Поэзия

«Я шла и ничего не различала...»	3
«Дождь в лицо и ключицы...»	4
Цветы	5
Невеста	6
«Мне скакать, мне в степи озираться...»	8
Павлу Антокольскому	10
Грузинских женщин имена	13
«Смеясь, ликуя и бунтуя...»	15
«Вот звук дождя как будто звук домбры...»	16
«О, еще с тобой случится...»	18
«Не уделяй мне много времени...»	20
Снегурочка	21
Мазурка Шопена	23
Лунатики	25
«Живут на улице Песчаной...»	26
Август	28
«По улице моей который год...»	30
«В тот месяц май, в тот месяц мой..»	32
Нежность	34
Несмейна	36
Мотороллер	38
Автомат с газированной водой	40
Твой дом	42

«Опять в природе перемена...»	44
«Нас одурачил нынешний сентябрь...»	45
Сентябрь	46
«Ты говоришь — не надо плакать...»	53
«Влечёт меня старинный слог...»	55
Светофоры	57
Чужое ремесло	59
Пятнадцать мальчиков	61
«Я думала, что ты мой враг...»	63
«Жилось мне весело ишибко...»	64
«Чем отличаюсь я от женщины с цветком...»	66
Сны о грузии	67
Спать	68
Свеча	70
Апрель	71
«Мы расстаёмся — и одновременно...»	72
Магнитофон	73
В метро на остановке «Сокол»	75
Прощание	77
«Кто знает — вечность или миг...»	78
Пейзаж	79
Декабрь	80
Зимний день	82
Новая тетрадь	84
«Жила в позоре окаянном...»	85
«О, мой застенчивый герой...»	86
«Смотрю на женщин, как смотрели встарь...»	88
«Так и живем — напрасно маясь...»	90
«Из глубины моих невзгод...»	92
Женщины	93
Вулканы	95
День поэзии	97
«И снова, как огни марленов...»	98

Зима	100
Болезнь	102
Воскресный день.....	104
Вступление в простуду	107
Маленькие самолеты	109
Озnob	112
Сказка о дожде	118
Осень	131
Памяти Бориса Пастернака	132
«Он утверждал: «Между теплиц...»	137
«Когда б спросили... — некому спросить:...»	139
Симону Чиковани	140
«Когда моих товарищей корят...»	142
Сон	144
Моя родословная	147
Уроки музыки	175
«Случилось так, что двадцати семи...»	177
В опустевшем доме отдыха	179
Тоска по Лермонтову	181
Приключение в антикварном магазине	185
Зимняя замкнутость	193
Ночь	197
«Последний день живу я в странном доме...»	199
Слово	200
Немота	202
Другое	204
Сумерки	205
«Четверть века, Марина, тому...»	207
Плохая весна	209
«Весной, весной, в ее начале...»	213
Биографическая справка	215
Клянусь	218
Описание обеда	221

«Я думаю: как я была глупа...»	225
«Так дурно жить, как я вчера жила...»	228
Варфоломеевская ночь	230
«В том времени, где и злодей...»	233
Гостить у художника	235
Дождь и сад	239
«Зима на юге. Далеко зашло...»	241
Молитва	243
Снегопад	245
Метель	247
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»	249
Описание ночи	251
Описание Боли в солнечном сплетении	253
Не писать о грозе	255
Строка	257
Семья и быт	258
Заклинание	261
Это я...	262
Рисунок	265
«Прощай! Прощай! Со лба сотру...»	267
Воспоминание о Ялте	269
Пререкание с Крымом	271
«Предутренний час драгоценный...»	273
Подражание	275
«Однажды, покачнувшись на краю...»	277
«Собрались, завели разговор...»	278
«В той тоске, на какую способен...»	280
«Ремесло наши души свело...»	282
Песенка для Булата	284
Медлительность	286
«Глубокий нежный сад, впадающий в Оку...»	288
Лермонтов и дитя	290
«Что за мгновенье! Родное дитя...»	292

Взойти на сцену	294
«Так, значит, как вы делаете, други?..»	296
«Ни слова о любви! Но я о ней ни слова...»	297
Дом и лес	298
«Сад еще не облетал...»	300
«Бьют часы, возвестившие осень:...»	302
«Опять сентябрь, как тьму времён назад...»	303
Дачный Роман	305
Ночь перед выступлением	310
Снимок	312
«Я вас люблю, красавицы столетий...»	314
Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине	317
«Теперь о тех, чьи детские портреты...»	319
Ожидание ёлки	322
«Наскучило уже, да и некстати...»	324
«Прохожий, мальчик, что ты?..»	326
«Как никогда, беспечна и добра...»	327
Дом	329
«Потом я вспомню, что была жива...»	334
«Завидна мне извечная привычка...»	335

Проза

На сибирских дорогах	336
Бабушка	373
Много собак и Собака	388
Лермонтов	422
Посвящение дамам и господам, запечатлённым фотографом летом 1913 года в Н-ской губернии Великой Российской империи	471
Созерцание стеклянного шарика	476
Комментарии	491
Содержание	504

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АС

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

В Москве:

- м. «ВДНХ», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «ХЛ-2», т. (495) 641-22-89
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, т. (499) 267-72-15
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Маяковская», ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 8, т. (495) 251-97-16
- м. «Менделеевская», ул. Новослободская, д. 26, т. (495) 251-02-96
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, стр. 1, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, т. (495) 306-18-97
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, к. 1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15/1, т. (495) 977-74-44
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТРК «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, т. (495) 229-97-40
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, корп. 1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Иридиум», Крюковская площадь, д. 1

В регионах:

- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Екатеринбург, ТРК «Парк Хаус», ул. Сулимова, д. 50, т. (343) 216-55-02
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 71-85-64
- г. Краснодар, ТЦ «Красная площадь», ул. Дзержинского, д. 100, т. (861) 210-41-60
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, т. (3912) 23-17-65
- г. Новосибирск, ТЦ «Мега», ул. Ватутина, д. 107, т. (383) 230-12-91
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ТЦ «7 пятниц», ул. Революции, д. 60/1, т. (342) 233-40-49
- г. Ростов-на-Дону, ТЦ «Мега», Новочеркасское ш., д. 33, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, корп. 1, ТЦ «Виктория Плаза», т. (4912) 95-72-11
- г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 185, т. (812) 766-22-88
- г. Самара, ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, д. 30, т. 8(908) 374-19-60
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Уфа, пр. Октября, д. 26-40, ТРЦ «Семья», т. (3472) 293-62-88
- г. Чебоксары, ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д. 105а, т. (8352) 28-12-59
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88а, т. (8202) 53-61-22

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой» или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковью:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10
E-mail: zakaz@ast.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АС

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **БУКВА**

МОСКВА:

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, т. (495) 232-19-05
- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-45-86
- м. «Алтуфьево», Дмитровское ш., д. 163 А, ТРЦ «РИО»
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, т. (495) 267-72-15
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, ТЦ «Александр Лэнд», этаж 0, т. (495) 406-92-65
- м. «ВДНХ», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «ХЛ - 2», т. (495) 641-22-89
- м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, ТЦ «Домодедовский», т. (495) 983-03-54
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, корп. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Крылатское», Осенний б-р, д. 18, корп. 1, т. (495) 413-24-34, доб. 31
- м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», т. (495) 258-36-14
- м. «Марксистская»/«Таганская», Бол. Факельный пер., д. 3, стр. 2, т. (495) 911-21-07
- м. «Маяковская», ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 8, т. (495) 251-97-16
- м. «Менделеевская»/«Новослободская», ул. Новослободская, д. 26, т. (495) 251-02-96
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4-й этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, стр. 1, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, т. (495) 306-18-97
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «ХЛ», Дмитровское ш., д. 89, т. (495) 783-97-08
- м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, ТЦ «Пражский Пассаж», т. (495) 721-82-34
- м. «Преображенская площадь», ул. Бол.Черкизовская, д. 2, корп.1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, корп. 1, 3-й этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Теплый стан», Новоясеневский пр-т., вл. 1, ТРЦ «Принц Плаза»
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15, корп. 1, т. (495) 977-74-44
- м. «Тульская», ул.Большая Тульская, д. 13, ТЦ «Ереван Плаза», т. (495) 542-55-38
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, корп. 1, т. (495) 322-28-22
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Шелковская», ул. Уральская, д. 2
- м. «Шукинская», ул.Шукинская, вл. 42, ТРК «Шука», т. (495) 229-97-40
- м. «Юго-Западная», Солнцевский пр-т., д. 21, ТЦ «Столица», т. (495) 787-04-25
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, корп. 1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, ТЦ «Эдельвейс»
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Иридиум», Крюковская площадь, д. 1
- М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, ТЦ «Дарья», т. (496)(24) 6-55-57
- М.О., г. Коломна, Советская площадь, д. 3, Дом Торговли, т. (496)(61) 50-3-22
- М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А, ТЦ «Счастливая семья»
- М.О., г. Электросталь, ул. Ленина, д. 010, ТЦ «Эльград»

РЕГИОНЫ:

- Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 65-00-95
- Белгород, Народный б-р, д. 82, т. (4722) 32-53-26
- Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 50, ТРК «Парк Хаус», т. (343) 216-55-02
- Ижевск, ул. Автозаводская, д. 3а, ТРЦ «Столица», т. (3412) 90-38-31
- Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 71-85-64
- Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, ТЦ «Красная площадь», т. (861) 210-41-60
- Красноярск, пр-т Мира, д. 91, т. (3912) 23-17-65
- Курган, ул. Гоголя, д. 55, т. (3522) 43-39-29
- Курск, ул. Радищева, д. 86, т. (4712) 56-70-74
- Курск, ул. Ленина, д. 11, т. (4712) 70-18-42
- Липецк, пл. Коммунальная, д. 3, т. (4742) 22-27-16
- Мурманск, пр-т Ленина, д. 53, т. (8152) 47-20-43
- Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107, ТЦ «Мега», т. (383) 230-12-91
- Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», т. (8412) 20-80-35
- Пермь, ул. Революции, д. 60/1, ТЦ «7 пятницы», т. (342) 233-40-49
- Ростов-на-Дону, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», т. (863) 265-83-34
- Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, корп. 1, ТЦ «Виктория Плаза», т. (4912) 95-72-11
- Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТЦ «Космопорт», т. 8-908-374-19-60
- Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 41, ТЦ «Академический», т. (812) 380-17-84
- Санкт-Петербург, ул. Чернышевская, д. 11/57, т. (812) 273-44-13
- Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 185, т. (812) 766-22-88
- Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-53-11
- Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- Тюмень, ул. М. Горького, д. 44, стр. 4, ТРЦ «Гудвин», т. (3452) 79-05-13
- Уфа, пр. Октября, д. 26-40, ТРЦ «Семья», т. (3472) 293-62-88
- Чебоксары, ТЦ «Мега Молл», ул. Калинина, д. 105а, т. (8352) 28-12-59
- Череповец, Советский пр-т, д. 88а, т. (8202) 53-61-22
- Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»
или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковью:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, факс 615-51-10
E-mail: zakaz@ast.ru

Литературно-художественное издание

Ахмадулина Белла Ахатовна

Друзей моих прекрасные черты...

Составитель *Б.А. Мессерер*

Ведущий редактор *В.Б. Парадовская*

Компьютерная верстка: *Т.Т. Соловьева*

Корректор *О.В. Сергеева*

Подписано в печать 29.05.09. Формат 84x108¹/₃₂.
Усл. печ. л. 26,88. Тираж 3000 экз. Заказ № 1670

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.2008 г.

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, 3а

ООО «Агентство «КРПА Олимп»
115191, Москва, а/я 98
www.rus-olimp.ru
E-mail: olimpus06@rambler.ru

Издание осуществлено при техническом участии
ООО «Издательство АСТ»

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «ИПП «Правда Севера»,
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52
www.ipps.ru, e-mail: zakaz@ipps.ru

Творчество Беллы Ахмадулиной стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности.

Интерес к ее поэзии с годами не ослабевает,
и уже сейчас очевидно, что она – один из крупнейших русскоязычных поэтов конца
XX – начала XXI столетия.

В первую книгу трехтомника вошли
стихотворения, поэмы и проза, написанные
в основном в ранний период творчества.

Среди них такие известные произведения,
как «Прощание», больше известное
по первым строчкам «А напоследок
я скажу...», «О, мой застенчивый
герой...», «По улице моей который
год...», знаменитые посвящения
Борису Пастернаку,
Булату Окуджаве, Павлу
Антокольскому.